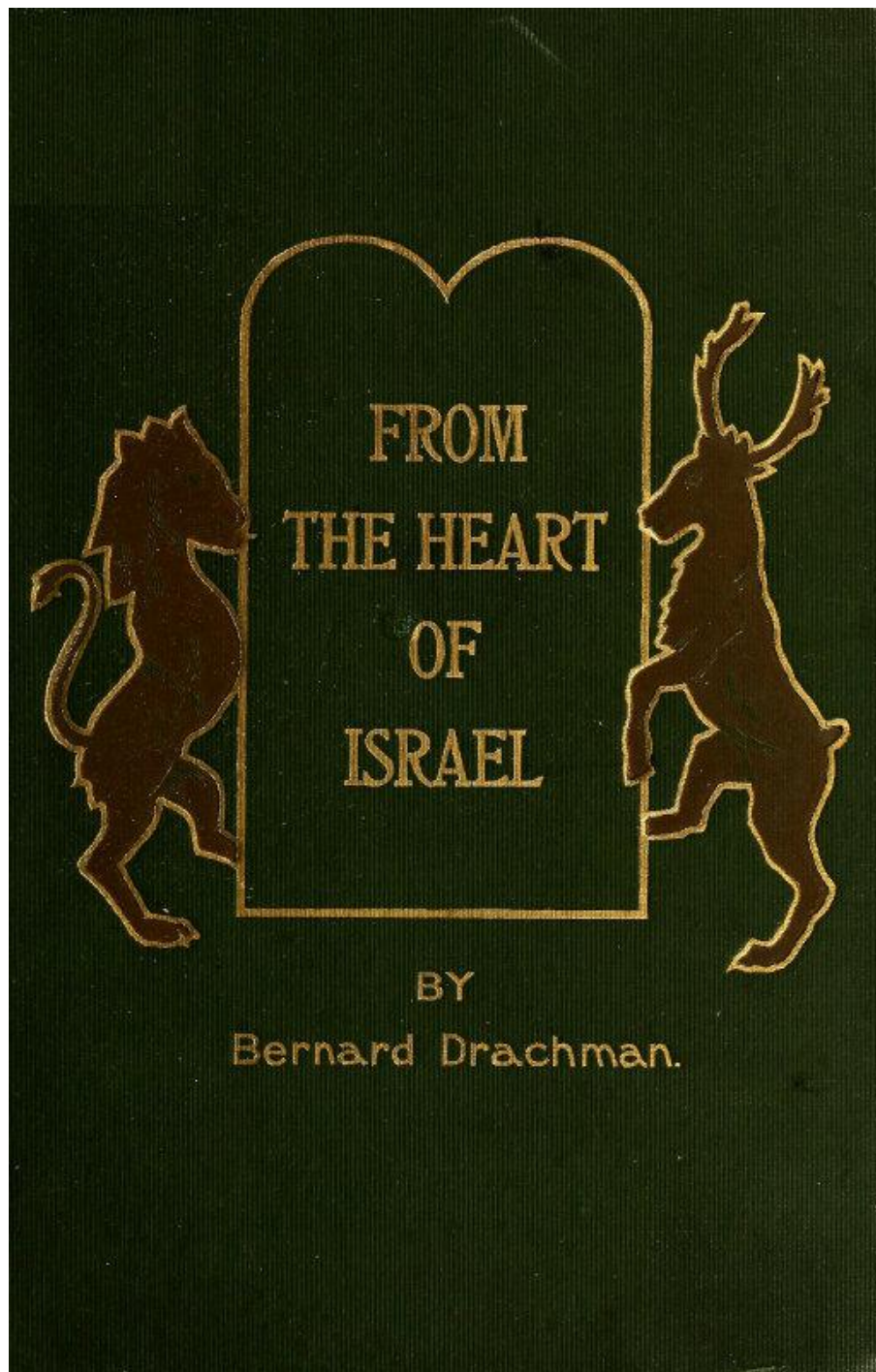


Из сердца Израиля: еврейские сказки и типажи

Бернард Дракман



Электронная книга проекта "Гутенберг" Из сердца Израиля: еврейские сказки и типы

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей мира бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать его, раздать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой книге, или онлайн по адресу www.gutenberg.org. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам необходимо ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь, прежде чем использовать эту электронную книгу.

Название: Из сердца Израиля: еврейские сказки и типы

Автор: Бернард Драчман

Иллюстратор: А. Г. Варшавски

Дата выхода: 27 августа 2019 [Электронная книга № 60189]

Последнее обновление: 17 октября 2024

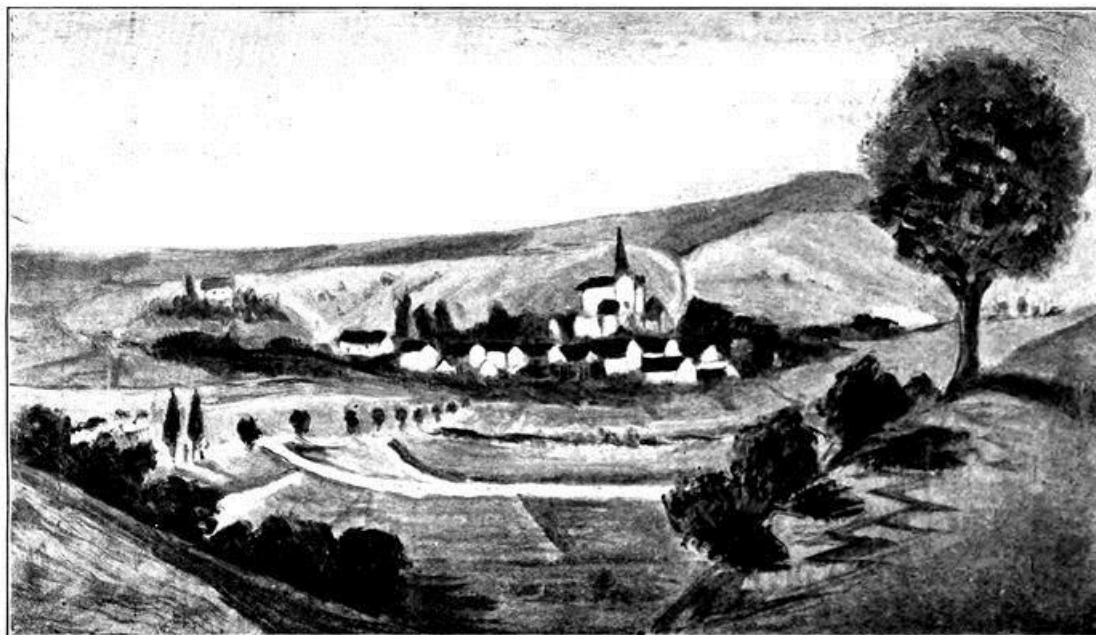
Язык: Английский

Кредиты: Электронный текст подготовлен Ричардом Тонсингом, Ричардом Халсом и командой онлайн-корректоров (<http://www.pgdp.net>) на основе изображений страниц, щедро предоставленных Internet Archive (<https://archive.org>) и проект библиотеки Google Books (<https://books.google.com>)

*** ЗАПУСК ПРОЕКТА "ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА ГУТЕНБЕРГА Из СЕРДЦА ИЗРАИЛЯ: ЕВРЕЙСКИЕ СКАЗКИ И ТИПЫ" ***

Электронная книга проекта "Гутенберг" Бернарда Драхмана "Из сердца Израиля", иллюстрированная А. Варшавски

Примечание: Изображения оригинальных страниц доступны через интернет-архив по адресу <https://archive.org/details/fromheartofisrae00drac> и проект библиотеки Google Books по адресу <https://books.google.com/books?id=jtlEAQAAMAAJ&hl=en>

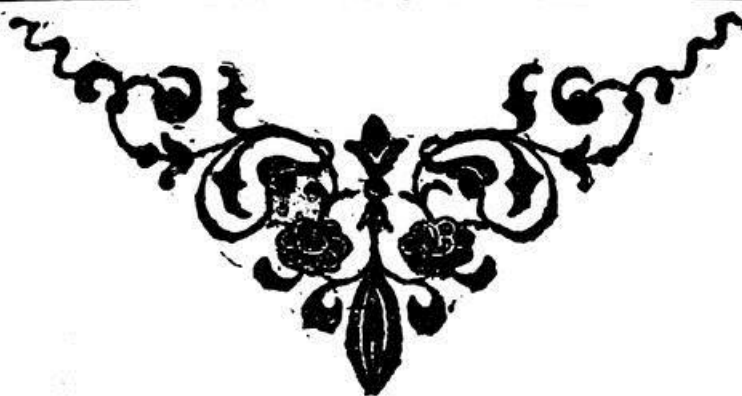


ДЕРЕВЕНСКИЙ

Фронтиспис

Из сердца Израиля

Еврейские сказки и типы



Бернард Драчман

Иллюстрация А. ВАРШАВСКИ

НЬЮ-ЙОРК

ДЖЕЙМС ПОТТ И КОМПАНИЯ

1905

Авторское право, 1905 г.

Автор БЕРНАРД ДРАЧМАН

Содержание.

	PAGE
Apologia pro Libro Suo,	v
Деревенский Кехиллах,	1
Нордхайм,	1
Шнорреры,	28
Жандармы,	37
Реб Шемайя и другие Достойные люди Нордхейма,	49
Маленькая Женщина с Хреном,	84
Генерал,	95
Слишком поздно, но вовремя,	128
Прозелит Праведности,	142
Айзек и Элис,	168
Точильщик ножниц,	186
Шлемиль,	211
Жертва предрассудков,	244

APOLOGIA PRO LIBRO SUO

- Саул тоже среди пророков? - спросил я. Мысленным ухом я слышу, как восклицают те, в чьих глазах рассказчик историй стоит неизмеримо выше раввина, священника, проповедника, ученого или как там еще можно назвать того, чье призвание - распространять еврейскую религию и мудрость, когда они видят, что один из представителей последнего класса осмелился вторгнуться в среду тех, кто считает художественную литературу своей исключительной и законной сферой деятельности, а также рискнул предстать перед публикой с книгой историй. "Что бы сделал священник в доме могил (на кладбище)?" С другой стороны, я слышу, как те, кто считает, что только мудрость Торы достойна внимания, и кто считает унижением и грехом отворачиваться даже на мгновение от изучения Священного Писания и слов мудрецов, с негодованием просят тратить время на рассказывание пустых сказок. Оба согласны в применении к данному случаю латинской и английской пословицы "*Ne sutor ultra crepidam*" ("Пусть сапожник держится до последнего"); и то, что они не правы, говорить не тому, кто несет ответственность за нынешнюю попытку, а должно быть предоставлено решению беспристрастной общественности, которая не преминет правдиво сообщить, нашла ли она что-нибудь приятное или полезное в приведенных ниже историях из еврейской жизни. Но автору может быть позволено сказать, что, по его скромному мнению, обе приведенные выше критические замечания основаны на ошибочных концепциях. Рассказывание историй не является ни независимым от Торы, ни противоречащим ей; иными словами, это может быть самым превосходным методом привития чистых и благородных уроков, и великие учителя Израиля всегда использовали его для этой цели.

Действительно, представление миру правдивых картин еврейской жизни само по себе является хорошей и полезной работой. Удивительно, учитывая, что евреи почти двадцать веков жили среди всех цивилизованных народов, какое невежество относительно учения их религии и их характеристик как народа все еще преобладает. Они жили среди человечества и скитались из страны в страну, повсюду отмеченные печатью таинственности, на них смотрели все, кто не принадлежал к их вере и роду, как на "особенный", загадочный, непостижимый народ. Тот факт, что их Книга, наиболее полно раскрывающая их сокровенный дух, стала заветным достоянием мира, должен был бы сделать невозможным такое неправильное представление; но этого не произошло. Таким образом, все, что помогает показать еврейскую жизнь в ее истинном аспекте, раскрыть поэзию и романтику, печаль и убожество, но также радость и красоту, славу и героизм еврейского существования даже в негероическом настоящем, выполняет самую полезную, истинно религиозную работу. Ничто не может сделать это более эффективно, чем художественная литература, которая привлекает множество людей, к которым произведения формального обучения, глубоких научных исследований никогда не могли найти доступа. Это оправдание писателя за то, что он на время отошел от тех областей еврейского образования, которые, возможно, должны были бы более должным образом использовать его энергию, и

стал, в какой-то мере, соперником тех, кто в последние годы возделывал поле еврейской художественной литературы. В служении, длящемся уже много лет, он, естественно, имел возможность познакомиться со многими интересными типами еврейского характера и сомногими случаями, которые красноречиво говорят об испытаниях и невзгодах, которые все еще составляют часть еврейского опыта, о зле и добре, которые проистекают из этого, и о влиянии еврейских учений, действующих в таких условиях. Ему показалось желательным представить некоторые из них миру в этой легко усвояемой и популярной форме, чтобы помочь в достижении того понимания евреев и их жизни, которое так необходимо, если они хотят когда-нибудь выйти из своего нынешнего ненормального состояния таинственности и быть признанными в их естественной связи с общей жизнью и религией человечества. Правильно ли он выполнил свою задачу, пусть судят его читатели.

Автор.

Нью—Йорк, Эллул, 5665-сентябрь 1905 года.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

	СТРАНИЦА
The Village,	<i>Фронтиспис</i>
Сам Дух Субботы Витал в Безмолвном Воздухе,	20
Там Они сидели и стояли в Различных позах, в то время как Сгущающиеся тени делали Их фигуры все более расплывчатыми,	21
Они Часто удостаивали Общину Своими посещениями,	28
Реб. Шемайя и Перла,	49
Маленькая женщина с хреном,	84
В нем есть Что-то Командирское, Что-то Бесконечно военное и авторитетное,	96
Когда Кавалькада завернула за угол, генерал услышал Крик:	111
Он был Всего лишь Заурядным Разносчиком,	131

Группа уличных зевак Забавлялась тяжелым положением Невысокого Смуглого Мужчины, Который Стоял среди Них,	Он был обычным Уличным торговцем,
Ничто не радовало их больше, чем поездка “Верхом”,	172
Точильщик ножниц,	186
Я остался Позади, глядя в окно на похоронную процессию,	196
Этот Человек Был Несчастливым представителем Человечества, с Голодными глазами, смотрящими на тебя с изможденного, нахмуренного лица,	212
Только потому, что Ты еврей, У Тебя возникают какие-то проблемы,	252
Последовавшая за этим игра была в высшей степени интересной,	287

ИЗ САМОГО СЕРДЦА ИЗРАИЛЯ.

ДЕРЕВНЯ КЕХИЛЛАХ.

Nordheim.

Многие люди, возможно, большинство читателей определенного вида еврейской литературы, вошедшей в моду в настоящее время, сбивые с толку возрождением и неправильным применением термина "гетто", имеют представление о том, что большая масса еврейского народа на европейском континенте проживает в грязных, вонючих трущобах больших городов, и что только в таких уединенных резервациях, вдали от контактов и наблюдения неевреев, сохраняется или может сохраняться иудаизм в его древней, традиционной форме и первозданной силе. В воображении таких людей, обманутых предвзятыми или жадными до сенсаций авторами, иудаизм - это слабое, бледное растение из подвала, которое ведет свое анемичное существование в темноте и слизи, но которое увядает под воздействием свежего, сильного ветра и яркого, теплого солнца небес. Эти представления, как бы хорошо они ни соответствовали требованиям амбициозных рассказчиков, неверны как в отношении предполагаемых фактов, так и выводов, сделанных из них. В большей части цивилизованного мира евреи не ограничены, будь то по принуждению или по собственному выбору, определенными районами городов, но свободно живут среди своих нееврейских сограждан повсюду; и закон Моисея не принуждает их бежать в поисках убежища в мрачные края, где самые скромные представители иудейского племени влачат жалкое существование в качестве

невольных соседей порочных и преступных людей, но находит множество искренних сторонников на возвышенностях страны среди счастливых обладателей того, что человечество считает высшим, - культуры и богатства. На самом деле, нам следует искать лучшие примеры живого, искреннего иудаизма вовсе не в больших городах. Рассеянные по Старому Свету, особенно по землям центральной и юго-восточной Европы, по сей день можно обнаружить тысячи еврейских общин в деревнях и поселках, которые на самом деле являются “кладезями чистейшего иудаизма” и живыми опровержениями всех любимых теорий современного еврейского (?) романиста. Наши братья в этих маленьких сельских общинах дышат чистейшим, целебным воздухом, который природа дает над горами, полями и лесами, и никогда не находили в остром озоне каких-либо разрушающих веру, еретических свойств. Они живут бок о бок с язычниками и постоянно встречаются с ними во всех коммерческих и социальных отношениях жизни, но они никогда не находили в свободном общении какого-либо ужасающего влияния, подрывающего иудейские верования и обычаи. Действительно, мало кто из них осознает, разве что смутно и косвенно, что иудаизм находится в опасности в наш современный век. Они живут так, как жили их предки до них, честной, простой, серьезной, искренней еврейской жизнью; счастливы в своем состоянии умеренного достатка или терпимой, незначительной бедности; соблюдают свои субботы и праздники, постятся и пируют в установленное время года, кладут тефиллин в будние дни и всегда едят только разрешенную пищу, щедро жертвуют свои средства на помощь бедным и страждущим, и принимают несчастья со смирением, как волю Божию, и не сомневаются, что этот иудаизм будет продолжать существовать во все грядущие времена.

О такой маленькой *Кехилле* из немецкой деревни Нордхайм в горах Рен в Баварии и о некоторых необычных и интересных личностях, которые ее составили, и будет мой рассказ.

Когда в детстве я впервые изучал окружающий мир, одним из предметов, которые больше всего привлекали мой детский взор, была картина, висевшая на стене гостиной моего дома. Это была грубая и нехудожественная картина, неуклюжая по очертаниям и варварская по цвету; но она была полна интереса для меня, поскольку рассказывала о месте далеко за морем, о месте, которое часто рассказываемые, но никогда не надоедающие истории окружали ярким ореолом романтики и которое мое пылкое воображение превратило в настоящую сказочную страну; это была картина деревни в той Германии, которая казалась такой далекой и такой нереальной, родины моей матери, Нордхеймана Рене. Эти чувства были вызваны не только и даже не главным образом самой картиной, но и описаниями, которыми мама “у” обычно сопровождала ее; ибо дорогая мама, упокой Господь ее душу, помимо других своих положительных качеств, обладала самым ярким и выразительным способом внушать свои идеи слушателям. Она была не только любящей, нежной и преданной идеалом еврейской родительницы, но и самой очаровательной и занимательной *рассказчицей*, до краев наполненной воспоминаниями о своей юности, живой хроникой людей и событий, способной описать как юмористическое, так и патетическое в неподражаемо трогательной и захватывающей манере. В дополнение ко всему этому она была живым опровержением излюбленной антисемитской клеветы о том, что у евреев нет чувства патриотизма. Она лелеяла в своем сердце самую теплую и неугасимую любовь к своей родной земле, в то время как ее привязанность к памяти о месте своего рождения, его связям и традициям приближалась к достоинству и искренности религии. Неудивительно, что из такого волнующего и восторженного источника я впитал живейший интерес ко всему, что касалось Нордхейма до Рена, его жителей и их благополучия. Я часами простаивал перед этой примитивной картинкой на стене нашей гостиной, глядя на ряды домов с поразительно

красными крышами и ослепительно белыми стенами, на ярко-зеленые поля и деревья с прямыми, как шомполы, стволами и математически эллиптической листвой и на похожего на оловянного солдата *жандарма*, которого деревенский художник, склонявшийся, должно быть, либо к реализму, либо к милитаризму (я никогда не мог определить, к чему именно), изобразил марширующим с воинственным видом и выставленным штыком вдоль загородного шоссе.

Но я не видел ничего из этого. Мое воображение заглянуло за эти внешние стены и увидело причудливые и трогательные фигуры тех, кто жил в этом уединенном убежище, и я поймал себя на мысли, будет ли мне когда-нибудь выпала честь увидеть место, где стояла колыбель матери, и побывать там, где жизнь текла в таких чистых, мирных и добродетельных руслах, вдали от давки и суматохи, зла и тоски большого мира, где крестьяне были простым, честным народом, а евреи - верными религии своих предков, где почиталась старость и детство. послушный и уважительный, где такие вещи, как нарушение субботы и употребление в пищу *Трефота*, были неизвестны.

Такая возможность представилась мне на двадцать первом году жизни. Обстоятельства, о природе которых здесь нет необходимости распространяться, позволили мне провести несколько лет в Европе для учебы. Но в то время как я с радостным предвкушением ожидал того дня, когда я начну свой курс в Северогерманском университете и семинарии, где мне предстояло готовиться к своему жизненному призванию, я с всепоглощающим интересом, я бы даже сказал, со страстным желанием, предвкушал возможность действительно увидеть Нордхайм и по-настоящему познакомиться с людьми и условиями, о которых я так много слышал и мечтал. Никогда не забуду тот день, когда, пересекши штормовую Атлантику и проехав на поезде день и ночь на юг от Гамбурга, я сошел в Меллихштадте, ближайшей к Нордхайму железнодорожной станции — в четырех английских милях — и увидел на платформе ожидающего меня смуглого юношу с приятным лицом, которого я никогда раньше не видел, но которого сразу узнал, поскольку его черты фигурировали не в одном поддельном изображении в потрепанном семейном альбоме, над которым я часто корпел более чем за три тысячи миль отсюда. Это был кузен Соломон, и он приехал на станцию, получив уведомление письмом о моем предполагаемом приезде, чтобы встретить своего американского родственника и проводить его в Нордхайм, в лоно своей семьи. Тогда и там я осознал реальность и ценность сантиментов. Перед нами были два человека, родившиеся в разных и далеко разделенных землях, говорящие на разных родных языках и являющиеся гражданами разных наций, которые никогда раньше не видели друг друга; и все же столь сильны были родственные узы и воспоминание об общей крови и общем происхождении, что их было достаточно, чтобы перебросить мост через всю эту зияющую пропасть разделения и сблизить сердца и губы в союзе истинной любви и привязанности. Наше узнавание было взаимным и мгновенным. Мы произнесли имена друг друга, бросились друг другу на шею и мгновение спустя болтали так интимно, как будто встречались ежедневно на протяжении всех наших предыдущих жизней. Три года подряд я проводил свои летние каникулы в Нордхайме, и я так хорошо узнал и полюбил его и окрестности, что, когда настал час окончательного расставания, это причинило моему сердцу не одну боль и вызвало больше слез из моих глаз, чем мне хотелось бы признать. Какую очаровательную идеальную жизнь, полную чувств и удовольствий, мы вели там, кузен Соломон и я. Казалось, мы парим в мире грез, слишком милом и прекрасном, чтобы быть реальными. Мы были одновременно студентами на каникулах, друзьями природы, детьми без тени заботы или беспокойства и искренними, набожными прихожанами в святилище Бога Израиля. Мы вместе взбирались на крутые и высокие горы, которыми изобилуют эти края, и, достигнув вершины, с

восторгом взирали на раскинувшуюся перед нами ослепительную панораму и глубоко вдыхали чистый, прохладный, целебный воздух. Мы часами бродили по густым сосновым лесам или совершали длительные пешие поездки в отдаленные деревни или места, которые были интересны по какой-либо исторической или иной причине. Однажды мы с тетей Каролиной совершили долгое путешествие в деревню Бургхаузен, расположенную по другую сторону гор Рен, чтобы навестить там каких-то родственников. Мы путешествовали в карете, принадлежащей герцогу Веймарскому. Мы наняли ее у управляющего герцога, который при случае не гнушался потратить честный пенни на имущество своего хозяина. Карета была украшена герцогским гербом, а наш кучер и лакей были одеты в ливрею герцога; и когда мы с размаху проезжали через различные деревни, крестьяне, их жены и дети выходили и кланялись нам с глубоким почтением. Я был совершенно поражен, но тетя Кэролайн и кузен Соломон были так удивлены, что с трудом сохраняли невозмутимое выражение лица. И они, и я кланялись направо и налево и по-королевски отвечали на приветствия, чем народ, казалось, был весьма доволен.

“В чем причина всего этого?” - спросил я Соломона (которого этот неожиданный энтузиазм крайне озадачил). “Неужели они обо всех так беспокоятся?” “Ну уж нет!” - сказал Соломон, от души смеясь. “Они узнают экипаж и лакеев и принимают нас за членов герцогской семьи. Они думают, что мама - герцогиня, а нас с тобой они принимают за молодых герцогов.

Но в целом все были чрезвычайно дружелюбны в Нордхайме и его окрестностях, еврей или нееврей, крестьянин, торговец или учитель, знакомый или незнакомец, без исключения. Это были “*gruesse Gott*”, и “*guten Morgen*”, и “*guten Tag*”, и “*lebe wohl*”, и “*auf Wiedersehen*”, и “*schlafe wohl*”, и “*angenehme Ruhe*”, и множество других добрых и сочувственных фраз, и все они были произнесены с такой очевидной искренностью и благими намерениями, что проходило сквозь душу и оставляло ощущение тепла и милосердия. и доброжелательно настроен по отношению к человечеству в целом. А потом еда, такая обильная по количеству, такая превосходная и более чем удовлетворяющая по качеству. Сначала тетя Кэролайн хотела кормить меня постоянно. Шесть или семь раз в день она накрывала на стол и приглашала меня к столу, пока я не запротестовал и настойчивыми мольбами не убедил ее сократить количество приемов пищи до четырех, время от времени добавляя дополнительный кусочек в промежутках. У меня слюнки текут, когда я вспоминаю “*gefüllte Flanken*”, и “*gruenkern Suppe*”, и “*eingelegte Gänsebrüst*”, и “*Zwiebeltächer's*”, и “*gesetzte Bohnen*”, и “*Shabboskugel*”, и тысячу и одно другое лакомство, которым нас потчевала дорогая тетя Кэролайн, и которое здоровый аппетит и молодость придавали аромат, по сравнению с которым амброзия, должно быть, казалась жалкой. И, о, пиво! Такой великолепный напиток! Так отличается от жалкого притворства, которое мы называем этим именем в Америке. В Нордхайме я полностью утратил все свои принципы воздержания и с тех пор так и не восстановил их.

Но вместе с этой радостной физической жизнью шла и духовная, не менее радостная и приносящая удовлетворение. Там, в Нордхейме, мы были евреями. Суббота была гостем, прибытия которого ждали с самым нетерпеливым нетерпением и который, казалось, окутывал волшебным, священным ореолом все еврейские дома в деревне, преображая прозаический повседневный облик людей и вещей в аспект достоинства и святости. Весь день по пятницам, примерно за час до наступления темноты, происходила невероятная суматоха подготовки. Такая уборка, скребка и полировка, такая выпечка, варка и заваривание! Казалось, что каждый дом был перевернут вверх дном. В тот день мужчины тоже вернулись домой на несколько часов

раньше обычного, а затем к суматохе добавились принятие ванн и чистка обуви, а также вынимание чистых рубашек и субботних костюмов, одевание и сборы. Но примерно за час до наступления темноты весь шум, гам и суматоха прекратились, и над деревней воцарилась субботняя тишина. Причудливые старинные семиугольные субботние светильники были вынесены, и еврейские домохозяйки зажгли их, произнося при этом предписанное благословение. Какой очаровательной и в то же время впечатляющей выглядела тетя Кэролайн, когда она стояла с поднятыми руками и благоговейным выражением лица перед священным светильником, в субботнем чепце из изящных кружев и лент, венчающем ее утонченные и правильные черты чистейшего еврейского типа, в то время как с ее губ срывались на святом языке слова благословения: “Благословен Ты, о Господь, Бог наш, Царь вселенной, который освятил нас Твоими заповедями и повелел нам зажечь субботний светильник”.

Полчаса спустя все собрались в маленькой синагоге, которая была заполнена до последнего места, поскольку синагога Нордхайма была построена не по американскому плану. В нашей прогрессивной стране мы строим большие и внушительные синагоги и храмы на благо не тех людей, которые регулярно посещают их — для них было бы достаточно очень маленького здания, — а тех, кто удостоивает Всевышнего чести посещать их только один или два раза в год. Но в синагоге Нордхайм были помещения только для ее постоянных членов и служителей, и предполагалось, что они будут находиться на своих местах во время всех общественных служб. Иногда кого-нибудь не хватало на службе, и тогда меня забавляло, с какой трепетной заботой расспрашивали его семью о причине его отсутствия. По-видимому, считалось само собой разумеющимся, что только болезнь или какая-либо другая не менее серьезная причина могла заставить кого-либо отсутствовать в синагоге во время богослужения. Я не мог удержаться от улыбки, когда подумал, насколько бессмысленной была бы подобная забота в Америке, где, напротив, вопрос, адресованный любому среднему еврею, если бы он приходил в синагогу не два или три дня в году, звучал бы так: “Что привело тебя в школу сегодня?”

Службы в синагоге в Нордхайме вызвали у меня огромный интерес, на самом деле, не из-за художественного исполнения ритуала или технического совершенства пения, а из-за духа преданности и искренности, которыми они были проникнуты. Я слушал множество канторов, которые, безусловно, занимают более высокое положение в своей профессии, чем скромный человек, выступавший в качестве деревенского учителя, *Хазан* и *Шохет* в Нордхайме, а музыкальные выступления обученных и оплачиваемых хоров, несомненно, превосходят необразованные, хотя и громогласные усилия деревенской паствы. Но во всех этих усилиях есть что-то поверхностное и механическое, что лишает их настоящего очарования и силы трогать и волновать дух. Слушая их, остаешься холодно критичным и судишь о них исключительно с точки зрения профессиональных способностей и художественных достоинств. В Нордхайме все иначе. В богослужении присутствовало всепроникающее чувство серьезности и реальности, которое заставляло забыть о *как* в молитвах и гимнах и думать только о *чем*. Вера, глубокая и незыблемая, как скала, укоренившаяся в самой ткани и жизни духа, смотрела с этих простых, серьезных лиц, сияла в этих искренних и выразительных глазах. Этот дух придал знакомому ритуалу совершенно новую яркость и впечатляющую. Верующие, казалось, обращались непосредственно к своему небесному Отцу, и когда по окончании *Лечо Доди*, гимна приветствия Субботы, все встали и повернулись лицом ко входу, я почти ожидал увидеть саму королеву Шаббат, облаченную в свадебные одежды небесной чистоты, входящую через ворота этого скромного дома Божьего.

По окончании молитвы верующие сердечно поприветствовали друг друга приветствием “Доброго шаббата” и разошлись по домам. Сцены в домах были в некоторых отношениях даже более впечатляющими, чем в синагоге. Дом дяди Коппела особенно блистал блеском славы. Столовая, которая также служила гостиной и лучшей комнатой, была ярко освещена, и посреди этого сияния особенно ярко сияла субботняя лампада. Стол был накрыт белоснежной льняной скатертью и уставлен лучшим фарфором, стеклом и серебром, которыми могли похвастаться домочадцы, а во главе стола, напротив священного места хозяина дома, стояли два субботних хлеба, накрытых красиво вышитой атласной крышкой; а сбоку от них стояли серебряный *кидуш*-мензурка и графин, из которых наливали благословляющее вино. Перед *кидушем* дядя Коппел “промаршировал” с младшим из детей и представлял собой поистине живописное зрелище, когда он расхаживал взад и вперед по комнате, неся на правой руке главного в семье ребенка, а за левую руку ведя следующего по младшинству, распевая при этом гимн приветствия ангелам Субботы. Затем последовало торжественное благословение, когда все дети предстали со склоненными головами перед своими родителями и были благословлены ими словами, произнесенными Аароном в древности над коленами Израиля, с добавлением обращения к сыновьям, чтобы Господь сделал их подобными Ефрему и Манассии, и к дочерям, чтобы они стали подобны Сарре, Ревекке, Рахили и Лии. Затем последовал *кидуш*, формальное омовение рук и преломление хлеба, а затем субботняя трапеза.

О, какое наслаждение от этой субботней трапезы! В пятницу вечером у всех был великолепный аппетит; что было действительно неудивительно, учитывая, что каждый работал и спешил весь день, готовясь к святому вечеру; и что, в соответствии с религиозным предписанием, никто за весь день не ел ничего существенного, чтобы отдать должное первой трапезе субботы. Блюда были разнообразны и все превосходны, так как были приправлены лучшей из специй — Шаббатом, — которая придавала им особый вкус, с которым самые знаменитые *повара* европейских или американских отелей тщетно пытались бы соперничать; но *изюминкой* стойкости, несомненно, была рыба. Форель высочайшего качества, крапчатая красавица, всего несколько часов назад извлеченная из ледяной воды одного из горных ручьев Рена *гебурге*, она появилась на столе холодной, после нескольких часов пребывания в вырубленном в скале погребе, который служил для наших современных холодильников, и с кисло-сладким соусом консистенции желе. Они были поглощены алчностью, которая не предвещала ничего хорошего для их пестрых *собратьев* по горным ручьям и тенистым заводям. После трапезы и официального произнесения молитвы, к которой все присоединились с громким звуком, привлечшим внимание деревенских мальчишек на улице, каждый последовал своему собственному сладостному желанию. Кто-то беседовал, кто-то читал религиозные книги, кто-то дремал, пока мерцание огней не возвестило об их приближении к угасанию и не предупредило всех, что настал час отходить ко сну. Затем с приятными пожеланиями “спокойной ночи” каждый укрылся на своем диване.

На следующий день соблюдение субботы было продолжено в манере, достойной ее открытия. За утренней службой, которая начиналась в восемь и заканчивалась в половине одиннадцатого, последовал *кидуш* и вторая из трех предписанных субботних трапез. Здесь главным блюдом были “*gesetztes Essen*”, или блюда, которые готовились в пятницу и разогревались в специальной печи, известной как “*Сецефен*”, в которой они были окружены мягким жаром, который не пригорал и не высушивал их, пока их не подали к субботней трапезе. Некоторые люди утверждают, что пища, приготовленная за день до употребления, вредна для здоровья, но, судя по тому благосклонному отношению, с которым к ней относились в

Нордхайме, вряд ли это так. Конечно, не вся пища поддается такой обработке, но та, что есть, приобретает особый вкус и сочность, которые делают ее особенно аппетитной.

В нашем субботнем меню были “*гезетце Бонен*”, блюдо, славу которого воспел Гейне, и “*Шаббос-кугель*”, достоинства которого вряд ли смог бы оценить даже поэт. После ужина были в порядке вещей визиты. Младшие члены *Мишпача* отправились засвидетельствовать свое почтение старшим, а дети общины заходили в разные дома без различия родства и угощались фруктами и сладостями. Что произвело на меня впечатление со стороны детей, так это их чрезвычайно уважительное и застенчивое поведение, доходящее почти до робости. Они робко стучали в наружную дверь; и когда им предлагали войти, они входили на цыпочках, робко произносили субботнее приветствие, а затем становились в ряд, не открывая рта, пока им не прикажут сесть. Они ни к чему не прикасались и ничего не делали без разрешения, а когда им давали фрукты или сладости, скромно произносили слова благодарности и ели их молча. Их действия были типичными для немецко-еврейского стандарта поведения детей. Дети, которые были достаточно взрослыми, чтобы получать образование, также были обследованы в субботу по предметам, которым их обучали в течение недели. Велика была радость родителей, чей сын бегло переводил *Седрах* недели, и способный мальчик всегда получал свою награду в виде дополнительной порции фруктов или сладостей.

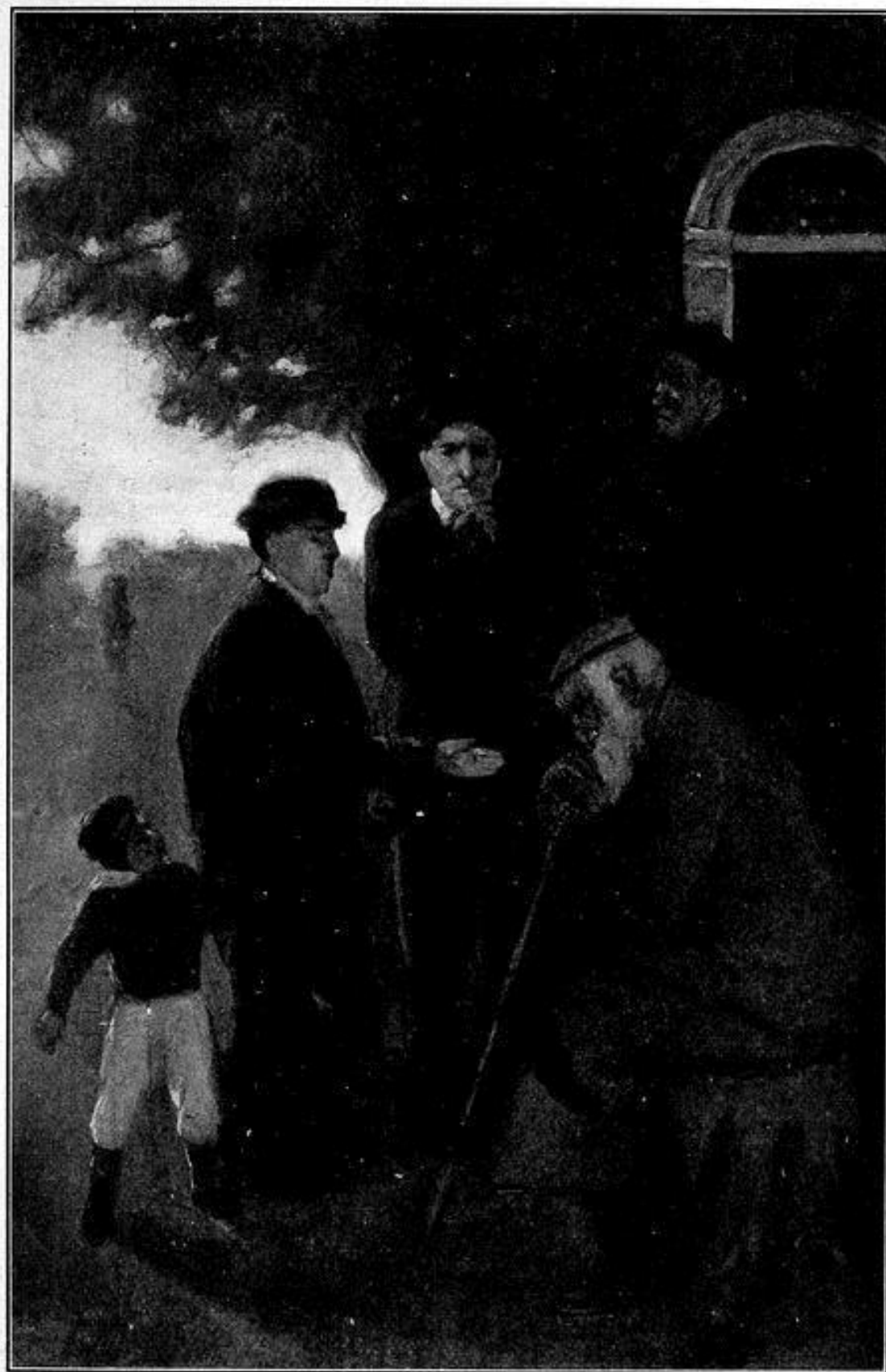
После визитов и обследований наступил субботний сон. Субботний сон! Пусть никто не говорит об этом легкомысленно или неуважительно, ибо это действительно было в большом почете в Нордхейме и других сообществах того же типа. Все считали это абсолютно необходимым условием правильного соблюдения субботы; и хотя мало кто из людей был сведущ в древнееврейских знаниях, все же почти все смогли процитировать в защиту своей практики каббалистическое толкование, согласно которому буквы слова *שבת* (Суббота) эквивалентны по значению предложению *שבת שבת*, которое можно пародировать как “Спи в субботу, сердце радуется ЭТОМУ”.

Между 13:00 и 16:00 нордхеймская *Кехилла*, используя языческую иллюстрацию, лежала, заключенная в объятия Морфея. На диванах, кроватях или в креслах, внутри дома или перед дверями, достойные *Баале Батим*, их супруги и дети дремали, дремали и отдыхали. Кошка спала под печью, собака мирно дремала перед дверью, сами лошади и крупный рогатый скот стояли неподвижно, как статуи, в своих стойлах и, казалось, дремали. Это была самая мирная, усыпляющая сцена. Ни один звук не нарушал тишины деревенских улиц, поскольку все крестьяне-язычники были разбросаны по полям. Сам дух субботы витал в безмолвном воздухе, и повсюду царили покой и безмятежность. Я тоже, который никогда не привык спать днем, не мог сопротивляться сонливому влиянию общего примера и после первой или двух недель так же регулярно, как и все остальные, дремал по субботам и находил это весьма приятным. В четыре все снова проснулись, и тогда была подана третья субботняя трапеза, которая обычно была легкой и состояла только из кофе, пирожных и фруктов. Затем прихожане собрались в синагоге на дневную службу, по окончании которой хазан “выучил *шиур*”, то есть прочитал собравшимся слушателям отрывки из еврейского религиозного произведения в переводе на немецкий, сопровождая их собственным комментарием. Его дикция была плохой, выражения - отнюдь не элегантными, а ход его мыслей находился в абсолютном противоречии с большинством излюбленных теорий того времени; но я сомневаюсь, что у самого красноречивого и научно подготовленного из современных проповедников когда-либо была такая внимательная и сочувствующая паства, как у него. Теперь наступило волшебное время, известное как

“между *Минхой* и *Мааривом*”, период, наиболее привлекательный и радующий еврейское сердце из всех дней субботы. Как солнечный свет наиболее прекрасен и великолепен непосредственно перед заходом солнца, так и Суббота кажется самой сладкой и восхитительной, когда она вот-вот уйдет. Послеполуденная молитва *ишиур* были завершены; день начинал темнеть, но должен был пройти еще почти час, прежде чем Шаббат закончится и можно будет прочитать вечернюю молитву первого дня. Некоторые люди отправились ненадолго прогуляться в поле; другие зашли в гостиницу, где их бесплатно угостили пивом и другими легкими закусками; ибо трактирщик-язычник хорошо знал, что соблюдающий закон еврей не носит с собой денег в субботу, но большинство оставалось в синагоге или собиралось во дворе перед священным зданием и проводило время в приятной беседе или рассказывании анекдотов. Там они сидели и стояли в различных позах, в то время как сгущающиеся тени делали их фигуры все более расплывчатыми, и наслаждались самой свободной возможностью для неограниченной беседы и обмена мыслями, которая предоставлялась за всю неделю.



САМ ДУХ СУББОТЫ ВИТАЛ В БЕЗМОЛВНОМ ВОЗДУХЕ



ТАМ ОНИ СИДЕЛИ И СТОЯЛИ В РАЗНЫХ ПОЗАХ, В ТО ВРЕМЯ КАК СГУЩАЮЩИЕСЯ ТЕНИ ДЕЛАЛИ ИХ ФИГУРЫ ВСЕ БОЛЕЕ РАСПЛЫВЧАТЫМИ

Страница 21

Для обсуждения были подняты все возможные темы “между *Минхой* и *Маарив*”. Политик из Кахиллы со знанием дела рассуждал о ситуации в Европе и различных проблемах государственного управления, связанных с отношениями великих держав друг к другу, философ проливал свет своей мудрости на великие научные движения того времени и удивительные изобретения, которые революционизируют цивилизацию, в то время как талмудист разъяснял запутанные и интересные вопросы раввинского права или сетовал на падение религиозных чувств в эти злые дни и противопоставлял их нескгибаемой верности былых времен. Все они нашли внимательных и жадных слушателей, для которых их слова были как само откровение Урима и Туммима; но они не вызвали такой степени энтузиазма, как рассказчик. Этот опытный рассказчик остроумных историй и юмористических анекдотов держал в своих руках сердца слушателей; и когда подошла его очередь и он начал использовать свой, по-видимому, неисчерпаемый запас *мешолим*, всей аудиторией овладел безмерный энтузиазм, и не было предела их удовольствию от бесчисленных хороших замечаний, которые он приводил. Они были действительно забавны, эти истории о безденежных раввинах и еще более безденежных *бахурим*, о неуклюжих женихах и невзрачных невестах, об остроумных поляках и интриганах *Шнорре*. Но их было больше. Они были поучительны, поскольку отражали внутреннюю жизнь еврейского народа и показывали, пусть и с юмористической точки зрения, множество испытаний и трудностей, с которыми им пришлось столкнуться.

Но теперь тени сгустились, превратившись в ночь, и *Шаммас*, которому выпала честь прочитать службу перед остальными прихожанами, чтобы ему разрешили выполнить повседневную работу по зажиганию света, прервал приятные рассказы рассказчика кратким уведомлением о том, что настало время молитвы. Вечерняя служба была короткой и длилась в общей сложности не более четверти часа. Его главной особенностью был *Хавдолох*, в котором Хазан произносил ряд благословений над вином, специями и своеобразной плетеной восковой свечой и благодарил Господа за то, что Он проводит различие между светом и тьмой, между субботой и будним днем, а также между Израилем и другими народами. Служба завершилась, верующие поприветствовали друг друга сердечным “*Нутро Вох*” и разошлись по домам, но еще не для того, чтобы возобновить повседневную работу.

В Нордхайме существовал неписанный закон, согласно которому субботний вечер нельзя было посвящать работе или бизнесу, за исключением чрезвычайных случаев. Женщины были особенно ревностны в соблюдении этого правила. Вместо этого безраздельно царила общительность. Мужчины по-дружески играли в карты, замужние женщины сидели группами и сплетничали, юноши и девушки играли на музыкальных инструментах, пели и танцевали. Эти приятные занятия продолжались несколько часов, так что субботними вечерами достойные еврейские бюргеры ложились спать гораздо позже обычного.

Искренность и неукоснительная последовательность, которыми отличалось соблюдение субботы, были характерны для религиозной жизни общины Нордхайма в течение всего года. Было бы несовместимо с рамками этого очерка вдаваться во все подробности религиозной жизни и практики; но достаточно сказать, что еврейское благочестие, проиллюстрированное в

Нордхейме, было в высшей степени серьезным, выразительным и подлинным. Даже дети обладали духом мучеников. Они скорее перенесли бы пытки, чем ели запрещенную пищу или нарушали субботу или любой другой святой день. Некоторые проявления этого благочестия были причудливо юмористическими или патетическими, в зависимости от точки зрения, с которой на них смотрели. Дети Нордхейма, как и дети во всем мире, очень любили фрукты и ягоды. Если бы им разрешили ходить в сады и огороды и безудержно собирать свои сладости, не может быть никаких сомнений, что в их глотки попало бы столько же, сколько они принесли домой. Но матери из Нордхейма придумали хитроумный план, позволяющий урезонить аппетиты своих сладкоежек, что в равной степени делало честь их изобретательности и психологическим знаниям. В постный день они отправляли детей собирать фрукты или ягоды. План был настолько же эффективным, насколько и удивительно простым. Дети приносили домой все, что собирали, потому что ни одному еврейскому ребенку в Нордхейме даже в голову не пришло бы совершить такой отвратительный грех, как попробовать еду на *таанисе*. Подумайте о применении такого правила к американским детям! Это было бы примерно так же эффективно, как пытаться обуздать быка с помощью кусочка хлопчатобумажной нити.

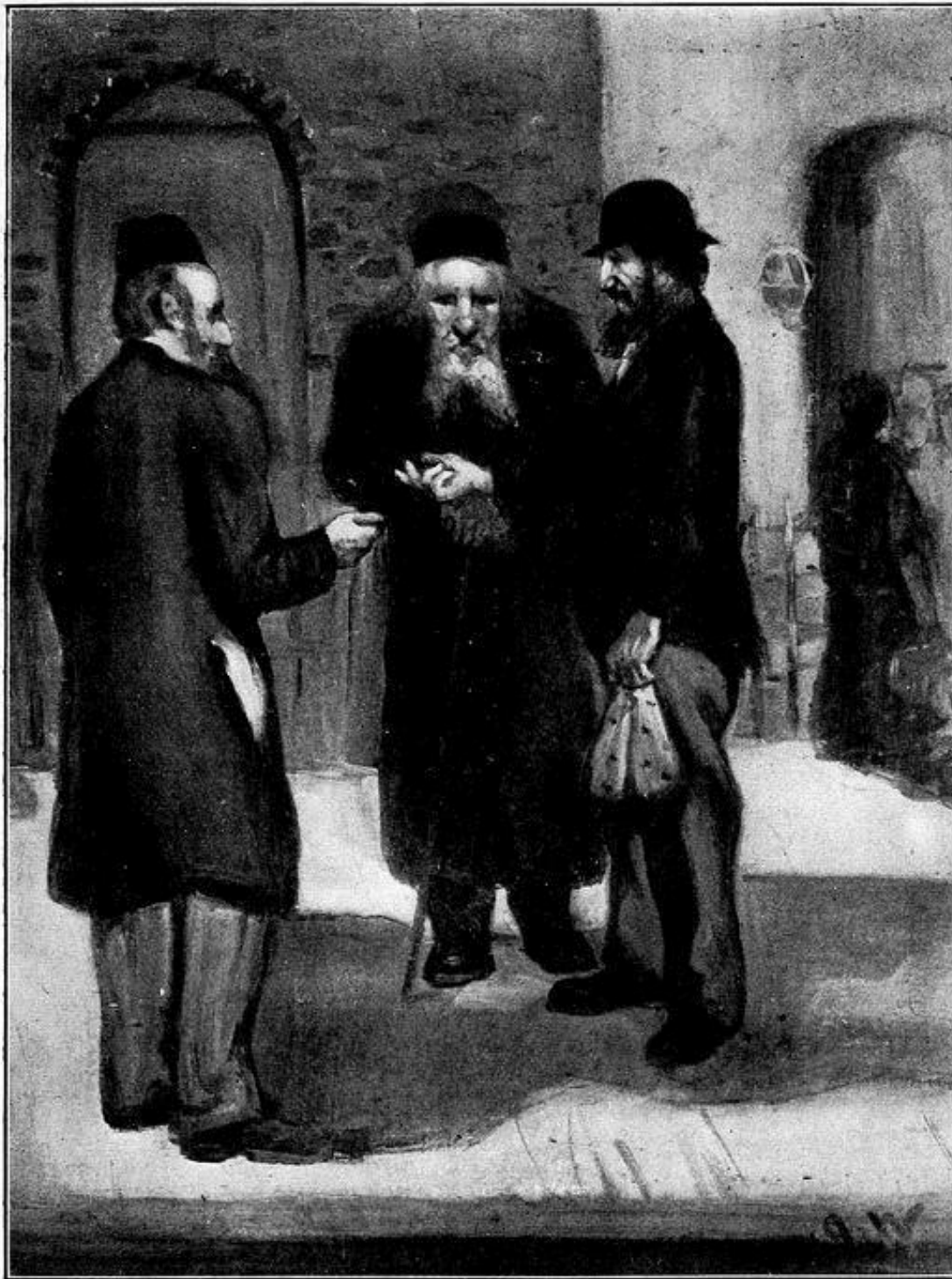
О достойном Нордхейме *Баале Хаббайисе* рассказывается, что однажды он увидел, как несколько мух поднялись с его ботинок и уселись на сено, которое позже съели его коровы. Это само по себе пустяковый и незначительный инцидент; но случилось так, что сапоги, в соответствии с немецким деревенским обычаем, были вымазаны салом, которое с точки зрения еврейского религиозного закона является *Трефой*, то есть ритуально нечистым и запрещено к употреблению в пищу. Наш достойный Нордхаймер сразу почувствовал угрызения совести и поспешно отправил специального гонца к раввину в Герсфельд с запросом о том, можно ли на законных основаниях пить молоко этих коров. Эта благочестивая щепетильность, однако, не предполагала, как можно было бы подумать, какой-либо мрачной или унылой резкости чувств. То, что мы привыкли называть пуританским складом ума, было совершенно неизвестно в Нордхейме. Напротив, преобладающим настроением было веселое и приятное расположение духа, которое делало тон общения чрезвычайно приятным. В отдельных случаях эта ментальная склонность проявлялась в ярко выраженной веселости, и счастливые обладатели ее становились "*Спасителями*", шутами и весельчаками общества. Горе тому несчастному, кто приобрел репутацию кислого и необщительного человека. Он считался законной жертвой насмешек официальных шутников, и доля сочувствия, которую он получал, действительно была невелика.

Другим примером преобладающей шутливости был обычай присваивать людям прозвища, которые затем использовались вместо их собственных имен. В Нордхейме редко к кому обращались по имени, это прозвище использовалось настолько повсеместно, что почти вытесняло реальное и юридическое прозвище. Эти прозвища были получены из-за какой-то личной характеристики или какой-то особенности, вытекающей из призвания или жизненного опыта, которые показались деревенским острякам забавными. Это был "черный Элиас", или "длинный Моисей", или "смелый Исаак", или "кроткая Сарра", причем последние два названия были, конечно, слегка ироничными. Один человек, обладавший чрезмерной смелостью в своем психологическом облике, был известен как "дер *Байшан*", то есть "застенчивый или робкий", в то время как другой, потерпев неудачу почти во всем, за что брался, получил всеобщее прозвище "дер *Маззельдиге Шмуэль*", то есть "счастливчик Сэм". Семья, отдаленный предок которой когда-то был заключен в башню и сбежал оттуда, выпрыгнув из окна своей камеры, была широко известна как "*die Thurm хюпфер*", "прыгуны с вышки", в то время как шестеро

братьев, все более шести футов ростом и крепких телосложением, носили поразительно подходящее обозначение “*die Kinderlich*”, то есть “младенцы”. Свинопаса, который созывал своих подопечных с помощью длинной жестяной трубы, из которой он издавал пронзительные, хотя и едва мелодичные звуки, евреи называли “*дер Баал Токеа*”, то есть трубящим в шофар или бараний рог, который использовался на новогодних службах; в то время как деревенский констебль, который был чрезвычайно набожным католиком и всегда ходил по воскресеньям по деревенским улицам с молитвенником в руке, из которого он читал с натянутым выражением лица и показная набожность получила название “*дер Баал Тефиллах*”, то есть кантор или чтец синагогальных служб.

Шнорреры.

Двумя проклятиями деревенской жизни и в то же время самыми занимательными фигурами в ней были *Шнорреры* и жандармы, или сельские полицейские. Названные в первую очередь джентри, бродячие еврейские попрошайки, которые верили в социалистическую доктрину о том, что мир или, по крайней мере, та его часть, которая исповедует иудаизм, обязана им жизнью, сами по себе представляли собой весьма интересную группу и заслуживали специального изучения. Они часто удостаивали общину своими визитами. Некоторых из них обычно можно было увидеть на улицах в любое время года, а службы в синагоге обычно украшались присутствием двух или трех человек. В большинстве случаев они проявляли крайнее благочестие, и тогда их *Тефиллины* были больше, их *Талетимы* длиннее, а их молитвы громче и экстатичнее, чем у остальных прихожан. Они приходили отовсюду. Большинство из них были русского или польского происхождения, но было немало людей немецкого происхождения, а иногда и сефард из Иерусалима или какого-нибудь другого восточного региона, одетый в восточные одежды и с величественным тюрбаном на голове, который нарушал монотонность шноррерства и добавлял ему интереса и разнообразия своей поразительно чуждой и живописной внешностью. Они приходили в самых разных обликах. Некоторые выступали в роли почтенных раввинов с развевающимися бородами, стремившихся продемонстрировать свои познания в юриспруденции всем, кого они могли заставить слушать; другие выдавали себя за торговцев, потерявших все в неудачных коммерческих предприятиях; в то время как другие были странствующими подмастерьями - *Handwerksburschen*— временно безработными. Иногда их сопровождали их жены, которые всегда были более словоохотливы и красноречивы, чем их мужья. Иногда появлялась целая семья, бабушки и дедушки, женатые сыновья и дочери, а также дети всех возрастов, включая младенцев на руках, и тогда ресурсы благотворительной организации Nordheim charity были сильно ограничены, чтобы обеспечить их должным образом.



ОНИ ЧАСТО УДОСТАИВАЛИ СООБЩЕСТВО СВОИМИ ПОСЕЩЕНИЯМИ

Страница [28](#)

Эти шнорреры не были нищими в обычном смысле этого слова. У них определенно не было смиренного или просящего вида. Они вошли в дом с таким видом, словно навестили старых личных друзей, и, казалось, считали совершенно самоочевидным, что их единоверцы должны брать на себя обязанность заботиться об их нуждах. Среди них, без сомнения, многие были по-

настоящему несчастными и достойными людьми, но было более чем подозрение, что значительная часть занялась шноррингом как особенно приятным и прибыльным занятием. Их уверенность в милосердии своих братьев по вере была вполне обоснованной. Евреи Нордхейма руководствовались в высшей степени гуманным и благородным принципом, гласившим, что лучше оказать помощь девяноста девяти недостойным людям, чем отказать в помощи одному достойному человеку, в которой он нуждался; и, следовательно, каждый проситель милостыни, если только не было достоверно известно, что он недостоин, получал помощь, которой он жаждал. Эта помощь обычно принимала форму еды, жилья и некоторой суммы денег или одежды. Преобладала своего рода система. Шноррер сначала обращался к *парнасу*, или президенту конгрегации, который затем выдавал ему талон, называемый *Плетт*, подделка *Биллета*, на какого-нибудь члена конгрегации, дающий право незнакомцу на еду и кров. Эти билеты выдавались по очереди, и обычно их с радостью разыгрывали. У некоторых членов клуба даже было пристрастие развлекать этих обездоленных собратьев, и они соперничали друг с другом по количеству мест, которые они вмещали. Забавно было слышать, как один хвастался, что он приютил, скажем, двадцать семь шнорреров в течение года, только для того, чтобы другой с торжествующим видом сообщил, что число его гостей-неплательщиков составило тридцать пять. Самой знаменитой хозяйкой такого рода была вдова по имени Ханна. Эта добросердечная дочь Израиля стремилась буквально выполнить заповедь мудрецов: “Пусть бедняки будут детьми в доме твоём”. Редко бывали дни, когда в ее доме не бывал какой-нибудь “гость”; и она делала для него все, что в ее силах, и прислуживала ему так, как будто его присутствие было величайшей честью. Когда однажды Ханну спросили, как получилось, что она, хотя и не была состоятельной женщиной, всегда была готова принять нуждающихся незнакомцев, причем в гораздо большей степени, чем людей с гораздо большим достатком, она ответила: “Ну, это очень простой вопрос. Все, что нужно, - это *Леф* и *Леффель*.”

В целом ментальное отношение евреев Нордхейма к своим нуждающимся и нищенствующим единоверцам сильно отличалось от того, которое преобладает сегодня; во всяком случае, в Америке. В настоящее время несчастные, которые зависят от помощи своих предположительно сочувствующих собратьев, считаются помехой; неприглядным наростом на социальном теле, который необходимо устранить любыми средствами, если это возможно. Несчастный проситель о помощи подвергается суровому изучению и допросу со стороны комитетов с рысьими глазами до тех пор, пока он не почувствует себя преступником, которого судят пожизненно. Какой-нибудь угрюмый “следователь” наносит ему домашний визит, эффективность которого измеряется количеством неблагоприятных отчетов, которые он делает. И горе тому несчастному, чье жилище хранит некоторые следы опрятности и аристократизма и где сохранились какие-то скромные украшения, возможно, реликвии более счастливых дней, которые не попали в ломбард. Такой человек сразу же объявляется “недостойным”, ибо разве его жилище не показывает, что он все еще обладает средствами, и его ходатайство сразу же кратко и безжалостно отклоняется. Но Нордхайм ничего не знал о таком безжалостном милосердии, о такой бесчеловечной человечности. Настроение там было поистине благотворительным в более добром и, следовательно, благородном смысле этого слова. Бедность рассматривалась как необходимая и неизбежная черта человеческого существования, как, по сути, часть Божественного устройства мира; ибо разве Он не сказал в Своем законе: “Нищие не прекратятся посреди земли”?

Несчастные, избранные каким-то таинственным промыслом Провидения нести тяжелое бремя бедности, были объектами настоящего и неподдельного сочувствия, и прилагались все усилия,

чтобы облегчить их печальное положение. И если кто-то из них время от времени прибегал к обману или мелкому введению в заблуждение, чтобы получить более крупное благодеяние, чем в противном случае выпало бы на его долю, не было ни возмущенных криков ужаса, ни проявления добродетельного негодования, как это сделали бы наши высокооплачиваемые эксперты или любители благотворительности; но люди просто качали головами, скорее с жалостью, чем иначе, и говорили: “Бедняга! видит Бог, ему и так мало достается в этом мире. Неудивительно, что он пытался получить немного больше”. В самом деле, если Шноррер действительно был проницательным парнем и его трюк был хорошо продуман, он был гораздо более склонен вызывать веселье, чем негодование, и действительно извлек бы пользу из своего остроумия. Это я хорошо проиллюстрировал вскоре после моего прибытия в Нордхайм. Однажды Шноррер с выражением крайнего горя на лице предстал перед дядей Коппелем и душераздирающим тоном сообщил ему, что только что получил известие о том, что он стал *Овелем*. “Увы, горе мне”, - причитал он. “Моя бедная, дорогая жена в Польше умерла! Что я буду делать без нее? Кто позаботится о моих бедных, несчастных сиротах? Как мне сохранить *Шиву* для нее, как подобает в память о ней, мне, у которого нет ни дома, ни средств?” Вряд ли нужно говорить, что печальный случай убитого горем вдовца вызвал самое глубокое сочувствие среди евреев Нордхайма. Дядя Коппел немедленно предоставил свой дом в распоряжение несчастного, чтобы тот мог должным образом соблюдать семидневный траур, и большинство прихожан вызвались присутствовать на траурных службах утром и вечером. Тетя Кэролайн заботилась о его комфорте, обеспечивала его четырех- или пятиразовым полноценным питанием и хорошей постелью по ночам. По истечении семи дней в его пользу был собран солидный кошелек, и он отбыл, осыпав благословениями головы всех нордхеймских *кехиллахи* поклявшись, что никогда не забудет их доброту и истинный дух братства.

Несколько недель спустя дяде Коппелю довелось съездить по делам в Ремхильд, довольно отдаленный городок в великом герцогстве Майнинген. Поскольку он никогда не ужинал, когда уезжал в эти поездки, было принято оставлять ужин для него, и все домашние оставались на ногах до его возвращения. Он вернулся довольно поздно, после девяти вечера. Как только он переступил порог, мы все заметили, что с ним в течение дня произошло что-то необычное, и что это что-то было забавного характера. Его лицо расплылось в улыбке, и он тихо посмеивался про себя. Всем нам, конечно, стало любопытно узнать причину его веселья, но никто, кроме тети Кэролайн, не осмелился спросить. “Ради бога, муженек, - сказала она, - в чем дело? Дай нам знать”. “Сначала дай мне поесть, жена”, - сказал дядя Коппел. “Мне нужны силы, прежде чем я смогу тебе рассказать”. Все время еды дядя Коппел сидел, сотрясаясь от плохо сдерживаемого смеха, в то время как любопытство и нетерпение снедали всех нас. Наконец, когда трапеза закончилась и Грейс продекламировала, дядя Коппел начал свой рассказ. “Я сегодня кое-что слышал от Ремхильды о нашем Шноррере, - сказал он, - о том, кто держал Шиву в нашем доме. “В самом деле, ” заголосили мы все, “ что это было?” “Сначала я зашел к Моисею Розенбауму, - продолжил он, - по поводу некоторого количества скота, который я хотел у него купить; и после того, как мы закончили наши дела, он сказал мне: “Кстати, Коппел, в городе сейчас очень печальный случай, и для тебя было бы настоящей *мицвой* немного помочь нам в облегчении ситуации“. “В чем дело?” - спросил я. “Бедный человек, - сказал он, - внезапно получил известие о смерти его жены, и он настолько обездолен, что не может прокормить своих сирот”. без посторонней помощи или даже без сохранения Шивы. Мы немного помогли ему, и он держал Шиву в моем доме в течение недели”. ‘Ага, - сказал я, начиная чутать неладное, ‘ это странно. У нас был как раз такой случай в Нордхайме несколько недель назад. Думаю, мне стоит съездить

и повидаться с вашим человеком. ' Мы отправились к Розенбауму домой, и, конечно же, это был тот же самый парень. Бизнес по хранению шивы в Нордхайме ему так понравился, что он решил попробовать это снова в другом месте. Когда я увидел его, я сказал: "Друг мой, мне кажется, я встречал вас раньше'. Он посмотрел на меня, несколько не смутившись, и сказал: "О да, в Нордхайме, несколько недель назад'. 'Что вы имеете в виду, говоря об этом наглom мошеннике, - спросил я, - притворяющемся, что потеряли свою жену, и выманивающим у людей благотворительные пожертвования, притворяясь, что сохраняете Шиву?' 'О, мой добрый сэръ, ' сказал он с притворной серьезностью, ' это вовсе не обман. В первый раз это было ложное сообщение. Моя жена не умерла. Но на этот раз она действительно мертва, на самом деле; и если вы мне не верите, то можете сами отправиться в Питчихув в Польше, в мой родной город, и убедиться в этом. Вы действительно можете. ' Мы все от души посмеялись над дерзостью этого парня и, предупредив его, чтобы он убедился, что его жена мертва, прежде чем в следующий раз посидит с ней за Шивой, велели ему убираться. Он ушел с большой готовностью, очевидно, довольный, что ему не стало хуже".

Жандармы.

Жандармы или сельские полицейские были вторым бедствием деревенской жизни; но в то время как на шноррера смотрели снисходительно, для этих последних ни у кого не нашлось доброго слова. Их ненавидели, основательно и сильно. Как правило, они вполне заслуживали презрения, которому подвергались, поскольку были напыщенными, невыносимыми личностями, вопиюще гордыми и тщеславными из-за малого авторитета, которым обладали, и чрезмерно стремящимися продемонстрировать свою власть; одним словом, мелкими тиранами худшего сорта. Их одинаково ненавидели евреи и неевреи, и они не пользовались популярностью даже у судей и магистратур, которые часто были либерально настроенными джентльменами и хорошо знали тиранический нрав своих деревенских слуг. Множество законов и постановлений в немецком своде законов, особенно тех, которые касались торговли, предоставили жандармам столь желанную возможность продемонстрировать свою власть; и поскольку евреи были главным элементом, занятым коммерческими делами, они также были главными жертвами этих деревенских вершителей судеб. Победить или привести в замешательство жандарма было в высшей степени достойным поступком, и все общество единодушно радовалось, когда один из этих властителей становился жертвой какой-нибудь особенно остроумной уловки.

Инцидент, произошедший незадолго до моего приезда в Нордхайм и доставивший большое удовольствие всему сообществу во время моего приезда, проиллюстрирует это расположение духа. В Нордхайме жил бедный, полоумный еврей по имени Мейер, несчастный парень без родственников, дома и средств к существованию, поддержка которого зависела от благотворительных пожертвований добросердечных жителей деревни. Несмотря на свою умственную немощь, Мейер обладал, как это нередко бывает со слабоумными, изрядным запасом юмора; а поскольку он всегда был весел и приятен и постоянно совершал странные и забавные поступки, "Шотех Мейерле", или "Маленький дурачок Мейер", как его называли, пользовался значительной популярностью. Все, богатые и бедные, высокопоставленные и низшие, евреи и неевреи, хорошо знали его. Все дружески приветствовали его, когда встречали на дороге; никто, даже самые неуправляемые мальчишки, не причинили бы ему никакого вреда и не позволили бы другим причинить ему вред. Он имел свободный доступ в каждый дом и пользовался всеми свободами и привилегиями, которыми не обладал ни один другой член

общины. Однажды случилось так, что Шотех Мейерле решил, по своему обыкновению, посетить соседнюю деревню Уилмарс, чтобы получить кое-какие подарки. День был жарким, дорога длинной и пыльной, и Мейер вскоре почувствовал, что отдых и восстановление сил были бы приятными. Их нельзя было достать на пыльной дороге, и поэтому он отошел в сторону, в поле, где росло прекрасное дерево, в прохладной тени которого он сел и отдохнул. Этот акт, правда, был незаконным, поскольку аграрные правила баварского государства строго запрещают наступление на возделываемые поля лицам, не являющимся владельцами или теми, кому они дают разрешение. Но что удивляло Мейера в этом, так это то, что он был, в какой-то мере, выше закона. Он мог безнаказанно нарушать торжественные положения кодекса, поскольку отношение к нему общества позволяло ему говорить, подобно знаменитому американскому политику более позднего времени: “Что такое Конституция между друзьями?” Поэтому Мейер посадил его на возделанном поле фермера Дитриха, не получив его официального разрешения, но и не опасаясь последствий. Однако на этот раз он ошибся. Недавно в Нордхайм прибыл новый жандарм, незнакомец из другого региона, незнакомый с местными жителями и их обычаями, но с душой, жаждущей отличиться, произведя несколько блестящих арестов. Его репутация угрюмого и неотесанного человека предшествовала ему, и все старательно избегали его и проявляли особую осторожность, чтобы не вступать в конфликт ни с одним из многочисленных законов и полицейских предписаний; так что до сих пор никто не попал в его лапы, и его стремление к отличиям пока не имело возможности быть удовлетворенным. В это конкретное утро он шел по дороге, размышляя о своем невезении (как он его считал) и проклиная жителей Нордхейма и окрестностей за абсурдно законопослушную толпу. Что особенно огорчало его, так это то, что ни один еврей до сих пор не попал к нему в руки, ибо он был истинным антисемитом; и привлечь одного из проклятых семитов по какому-нибудь хорошему и тяжелому обвинению было благоволением для его души. Шагая таким образом по дороге и размышляя, он увидел человека, сидящего на камне в поле, чей внешний вид ясно указывал на то, что он не был ни крестьянином, ни полевым рабочим, и который, следовательно, вероятно, не имел права здесь находиться. Это был, конечно, наш друг Мейер, но наш доблестный жандарм не знал его и не был осведомлен об особом статусе неприкосновенности, которым он обладал. “Ага!” - подумал жандарм, и душа его наполнилась радостью при мысли о том, что он, наконец, произведет арест. “Нарушитель закона! Вероятно, странствующий подмастерье (*Wandersbursch*) или странствующий торговец (*Handelsman*), который не знает, что я, ревностный и верный страж закона, нахожусь по соседству, и который поэтому осмелился вторгнуться в священные пределы полей! Я должен подойти осторожно, чтобы он не заметил меня еще издали и не сбежал. Размышляя таким образом, он начал осторожно приближаться к предполагаемому нарушителю закона, прячась за кустами и стенами, чтобы не выдать своего присутствия до тех пор, пока не окажется в непосредственной близости от намеченной жертвы, когда он набросится на нее, как тигр набрасывается на свою добычу.

Но каким бы хитрым ни был жандарм, Шотех Мейерле была еще хитрее. Он видел яркий мундир и сверкающий мушкет напыщенного защитника закона, когда они впервые появились на далеком повороте Остгеймского шоссе. Он сразу понял его намерение, когда увидел, что тот сначала остановился, а затем медленно двинулся вперед, ища укрытия за кустами и стенами, и, с инстинктивной хитростью слабоумного, он сразу же решил расстроить его тщательно разработанный план и немного поразвлечься со своим потенциальным похитителем. Он продолжал спокойно сидеть на своем камне, очевидно, в полном неведении о приближении жандарма, пока как раз перед тем, как последний оказался в слишком неудобной близости, он

не встал и не начал неторопливо двигаться через поля в направлении Зоммерберга, поросшего лесом холма, расположенного несколько к северо-востоку от деревни. При этих словах жандарм был вынужден показаться. Он вырвался из-под своего укрытия в кустах, выскочил на поле и призвал незваного гостя, каким он его считал, встать и подвергнуться аресту. Вместо того чтобы сделать это, Мейер продолжил двигаться дальше в несколько более быстром темпе. Чтобы осознать значение этого действия, нужно помнить, что в Германии от человека, вызванного полицией, ожидают, что он немедленно встанет и даст отчет о себе, что он неизменно и делает. Только тот, у кого есть самые серьезные причины не желать внимания полиции, осмелился бы попытаться ускользнуть от них, когда их внимание однажды было привлечено к нему.

Теперь наш достойный жандарм был убежден, что ему предстоит иметь дело с опасным преступником, и его душа трепетала от надежды произвести блестящий арест, который обеспечит ему благосклонное внимание сверху, быстрое продвижение по службе и, возможно, бессмертие в анналах криминалистических достижений. Он крикнул Мейеру, чтобы тот остановился, во весь голос, одновременно перейдя на бег и бросившись к нему. Но Мейер не остановился. Напротив, он тоже пустился бежать и вскоре уже мчался по холмам и долам, преследуемый теперь уже совершенно разъяренным офицером.

Кто может адекватно описать ужасы и славу этой необыкновенной расы? Мейер был худым, легким и подвижным, обладал великолепной выдержкой и был проворен, как олень. Он действительно устроил жандарму веселую погоню по холмам и спускам в долины, по лесам и ручьям, по кукурузным полям, лугам и садам. Но жандарм был сильным человеком и дичью, хотя и довольно отяжелевшим от переедания и выпитого пива; отягощенный своим тяжелым мушкетом, он, к сожалению, был не в форме из-за недостатка физических упражнений. Переполненный яростью и решимостью взять в плен этого выдающегося преступника, он тяжело дышал и продолжал преследование, несмотря на усталость и пот. Мейер легко мог бы оторваться от него, но не собирался этого делать; и поэтому он так контролировал свой темп, чтобы всегда оставаться в поле зрения своего преследователя и не позволять последнему потерять надежду и сдаться.

Таким образом, погоня продолжалась до тех пор, пока охотник и преследуемая, преодолев более четырех миль местности, не оказались у ворот Меллихштадта, главного города округа и резиденции окружного суда, который в то время, как Мейер хорошо знал, заседал. Здесь Мейер, делая вид, что устал, постепенно замедлил шаг и позволил своему тяжело дышащему и обливающемуся потом преследователю схватить себя. “Ага, проклятый еврей! Ага, негодяй!” хрипло воскликнул тот, грубо схватив Мейера за воротник. “Наконец-то я тебя поймал! Теперь ты горько заплатишь за свое злодейство и свою дерзость. Я потащу тебя прямо в суд, и достопочтенные судьи хорошо знают, как поступить с таким дерзким негодяем, как ты, который, несомненно, совершил какое-то тяжкое преступление, иначе он не сбежал бы от меня.” Мейер не удостоил меня ответа и не оказал сопротивления, а покорно последовал за жандармом в здание суда, которое находилось совсем недалеко; хотя торжествующий офицер, разгневанный беспрецедентной погоней, которую ему пришлось совершить, буквально потащил его туда самым не по-джентльменски.

Окружной судья, одетый в шелковую служебную мантию и бархатную шапочку на голове, сидел за своим столом на возвышении в верхнем конце зала суда, по обе стороны от него находились

асессоры, когда эта примечательная пара: толстый, разгоряченный, вспотевший жандарм с красным как огонь лицом и комичная, хорошо известная фигура слабоумного еврейского нищего вошли в комнату, причем первый держал последнего железной хваткой и с выражением сильного волнения на лице; в то время как последний был совершенно хладнокровен и самоуверен. одержимый, он улыбался всем телом с выражением совершенного удовлетворения, как будто пробежка в четыре мили и задержание полицией были повседневными и весьма приятными событиями в его жизни. В то время рассматривалось интересное дело, и зал суда был битком набит разношерстной толпой крестьян, рабочих, еврейских торговцев и землевладельцев, среди которых прибытие этой необычной пары произвело оживленную сенсацию, тем более что озорные наклонности Шотех Мейерле были хорошо известны и вызывало всеобщее любопытство относительно того, чем он занимается сейчас.

Когда жандарм вошел в зал суда, он сначала на мгновение заколебался, не зная, имеет ли он право немедленно предстать перед судьями или нет; но верховный судья, который прекрасно знал Шотех Мейер (как и заседатели) и сам был охвачен любопытством относительно значения этого экстраординарного ареста, сразу же сделал ему знак подойти, что он немедленно и сделал. Не успел жандарм привести своего арестанта в коллегия адвокатов, как тот низко поклонился суду и, приветливо улыбнувшись судьям, сказал голосом, слышным на весь зал: “Доброе утро, *герр Герихтсхоф!* Доброе утро, мой *господин асессор!* Как вы все себя чувствуете сегодня? Надеюсь, вы все хорошо спали прошлой ночью!” Это крайне необычное для зала суда приветствие сопровождалось необычайной ухмылкой и комичным взмахом рук и было встречено взрывом сердечного смеха со стороны публики, к которому присоединились судьи, что крайне смутило жандарма, который уловил в нем нотку дружелюбия по отношению к заключенному, которую он не мог понять, но которая не предвещала ничего хорошего для успеха его обвинения.

Затем жандарму было приказано рассказать свою историю, и он привел факты, с которыми мы уже знакомы, особо подчеркнув свое подозрение в том, что заключенный виновен в других тяжких преступлениях, основанное на отчаянных попытках избежать ареста. Эту историю слушали с явным весельем, что еще больше усилило смущение доблестного похитителя, который начал чувствовать себя очень дешево, хотя и не знал почему.

Затем Мейера вызвали для изложения его версии дела. “Почему, почтеннейшие судьи и асессоры, ” сказал Мейер с самой обаятельной улыбкой и простодушным видом, - я не знаю, почему меня арестовали и почему герр жандарм так сердит на меня. Я всего лишь бедный, смиренный человек, и я никогда никому не причинил вреда за всю свою жизнь. Сегодня утром я немного отдохнул на поле фермера Дитриха, а потом совершил небольшую оживленную пробежку в Меллихштадт и по дороге несколько раз видел герра жандарма. Едва я добрался до Меллихштадта, как он грубо набросился на меня и притащил сюда, и это все, что я знаю.

“Но почему вы оказались на поле фермера Дитриха?” - спросил верховный судья, пытаясь напустить на себя суровый вид. “Разве вы не знаете, что это противозаконно и что тем самым вы подвергаете себя суровому наказанию?” “Возможно, ваша честь, - ответил Мейер, “но я не думал, что поступаю неправильно. Все местные жители очень добры ко мне и охотно допускают меня на свои поля; и я думал, что на этот раз все будет так же, как всегда”.

- Но почему вы бежали весь долгий путь от Нордхайма до Меллихштадта, да еще в такую жаркую погоду? - спросил судья, с большим усилием подавляя веселье.

“Причина, по которой я это сделал, ” сказал Мейер с самым невинным выражением лица, “ заключалась в защите моего здоровья. В последнее время я сильно страдаю от запоров, и врач порекомендовал мне заниматься спортом на свежем воздухе ”. Этот ответ был встречен взрывом смеха со всех сторон.

“Но, ” продолжал судья, все еще пытаясь вести расследование в судебной манере, “ когда вы увидели бегущего за вами жандарма, вам не следовало продолжать, не заметив его. Тебе следовало остановиться и узнать, чего он от тебя хочет. Почему ты этого не сделал?” “Я бы с радостью сделал это, ваша честь, ” сказал Мейер тоном совершенной откровенности, - но у меня не было ни малейшего представления, что ему что-то от меня нужно. Я подумал, что он, вероятно, тоже страдает от запоров, и что врач также порекомендовал ему физические упражнения для его здоровья ”. Этот ответ буквально “обрушил дом”. Среди бурного веселья, которое совершенно противоречило обычным ограничениям судебной дисциплины, дело было прекращено, и на удрученного жандарма обрушился поток ироничных комплиментов по поводу его служебного рвения и способностей бегуна. После этого инцидента Шотех Мейерле стала более популярной, чем когда-либо, но прошло много дней, прежде чем жандарм набралась смелости посмотреть кому-либо в лицо.

a. 14



Reb. Shemayah



Страница 49

Реб Шемайя и другие достойные люди Нордхейма.

О милый Нордхайм! Хотя твоих жителей, особенно тех, кто исповедовал древнюю веру Израиля, было совсем немного, как сравнительно многочисленны были те, чьи характеры по той или иной причине были интересны и заслуживали внимания. Позвольте мне представить некоторые из них в обзоре читателю, прежде чем я закончу эту недостаточно правдивую хронику.

Безсомнения, самым важным и значимым из этих людей был реб Шемайя. Он был моим дедушкой, хотя мне не выпала честь лицезреть его во плоти, поскольку он отошел в лучший мир за несколько лет до моего визита в деревню. Он был идеальным образцом старого, искреннего, преданного и набожного немецкого еврея. Он был сыном старинной семьи с высокой репутацией, которая обосновалась в Нордхайме на протяжении нескольких столетий; и один из его предков, чье изображение фигурирует в старой деревенской хронике, обладал уникальной особенностью быть единственным жителем, у которого была оседланная лошадь. Как и все сыновья лучшего класса еврейских семей прежних поколений, он получил тщательную подготовку по изучению иврита и талмуда. *ВЙешибе* в Фульде, куда его послали изучать раввинские знания, он достиг таких высот благодаря остроте своего интеллекта и быстроте своего прогресса, что достопочтенный раввин горячо привязался к нему и заявил, что только он должен быть его преемником и его зятем, мужем его младшей дочери.

Как раз в тот момент, когда реб Шемайя был близок к достижению высочайшей вершины еврейских амбиций тех дней - стать раввином и взять в жены красивую темноглазую дочь рава Фульды, произошло событие, которое разрушило его надежды в обоих этих отношениях, но дало повод для проявления его благородного идеализма. Баварское правительство издало рескрипт о том, что для того, чтобы отучить евреев от мелких форм торговли, к которым они до сих пор были пристрастны, и побудить их заняться сельским хозяйством, закон, запрещающий евреям владеть землей, действовавший веками, был отменен, и отныне им будет разрешено владеть землей и обрабатывать ее наравне со всеми остальными гражданами.

Благие намерения нового закона были очевидны, но евреи не решались воспользоваться им; более того, они не хотели этого делать. Столетия незнания сельского хозяйства были отчасти виноваты в этом нежелании; но, опять же, существовало также сильное предубеждение против профессии фермера, которая считалась низкой и грубоватой и намного уступала по социальной ценности профессии торговца или ученого. Реб Шемайя не разделял этих взглядов. Его душа загорелась энтузиазмом, когда он услышал о новом законе, который, по его мнению, впервые наложил печать настоящего гражданства на еврея. Он не только считал сельское хозяйство внутренне облагораживающим занятием и единственным призванием, соответствующим истинно еврейским, библейским заповедям, но и считал, что землевладельческий класс является реальной основой государства, в то время как все остальные - всего лишь плавающие паразиты. Когда он увидел, что его братья колеблются и что никто, похоже, не желает покупать землю, он решил подать им хороший пример и сам стал возделывать землю. Он вложил все свое состояние в покупку фермы недалеко от Нордхайма, которую сам начал активно возделывать. Так реб Шемайя отказался от раввинского призвания и стал крестьянином. Это была огромная жертва; но хуже всего было то, что ему пришлось отказаться и от своей милой невесты, потому что старый раввин Фульды был упрям и ему не нравились эти новые вещи. "Крестьянин не получит мою дочь", - сказал он; и хотя реб Шемайя очень любил милую Мириам, он больше любил Израиль и ради своего идеала пожертвовал частичкой собственного сердца. Воодушевленные примером реб Шемайи, многие другие евреи вкладывали деньги в землю и пытались научиться искусству земледелия; и в настоящее время еврейские землепашцы больше не являются редкостью.

В общине Нордхайма и во всей окружающей стране реб Шемайя пользовался высочайшей репутацией. Его любили, уважали, боготворили все. И он вполне заслужил свою высокую репутацию, ибо характер такой исключительной чистоты, мягкости и благородства

принадлежит к редкостям на земле. Он был глубоко и исключительно набожен, даже для тех дней, когда благочестие и религиозная строгость были обычным явлением в Израиле. Тору, божественный закон, он считал самым драгоценным даром Бога человечеству, а миссию Израиля он считал заключающейся в том, чтобы практиковать этот закон и показывать его превосходство миру; и жизнью, исполненной величайшей добродетели и благодеяния, быть *мекаддеш Ха-Шем*, то есть освящать имя и приносить честь и славу Тому, чьи слуги были таким образом праведными и добродетельными. Он соответствовал своему идеалу, и таким образом его жизнь превратилась в один длинный список добрых слов и благородных поступков. Как евреи, так и язычники имели в нем искреннего друга и надежного советчика и были одинаково рады обратиться к его мудрому совету и готовой помощи в час нужды или горя. Шнорреры питали к нему особенно теплые симпатии, так что после его смерти они сокрушались о том, что Нордхайм, хотя и был необыкновенно милосерден, утратил в их глазах ореол своей славы. Он всегда верил любой истории о горе, рассказанной ему умоляющим незнакомцем, и никогда не устал помогать, потому что мысль об обмане никогда не приходила в его бесхитростный ум. Ученый странник вызывал у него особую симпатию, и он всегда по-королевски принимал такого человека в своем доме и с величайшим интересом выслушивал его эрудированные комментарии к библейским или талмудическим отрывкам или новым решениям старых трудностей; и, угостив его с безграничной щедростью, отпускал, осыпав существенными благословениями.

Реб Шемайя был богат не потому, что мог делать все это, просто экономя немного из своего изобилия. Напротив, он делал такие щедрые пожертвования из принципа, из религиозного долга, и его благотворительные пожертвования часто влекли за собой большие жертвы его стороны. Большую часть своей жизни он жил в довольно стесненных обстоятельствах, и строгая экономия была обязательным правилом в его доме. Все его состояние ушло на покупку его *Бауэрнгута*; и поскольку он не был ни квалифицированным агрономом, ни заядлым бизнесменом, его финансы могли бы прийти в большой беспорядок, если бы не железное правило, которое он установил для себя и от которого никогда не отступал, - никогда не брать долги, которые он не видел ясного способа выплатить. В дополнение к своим обычным трудностям он столкнулся с несколькими несчастьями, которых было бы достаточно, чтобы сломить мужество обычного человека; но его возвышенная вера позволяла ему переносить все эти испытания бодро и безропотно, и, подобно рабби Нахуму в древности, он повторял всякий раз, когда на него обрушивалась какая-либо беда: "Это тоже к добру".

Яркая иллюстрация этой черты была дана после того, как он в течение нескольких лет активно занимался выбранным им призванием, нашел избранную спутницу жизни и уже имел семью из нескольких дочерей. Посреди суровой зимней ночи в жилище реб Шемайи внезапно вспыхнул пожар, который быстро принял такие размеры, что остановить его было невозможно, и семью выгнали полуодетыми вледяную ночь. Дом сгорел дотла, и почти ничего из его содержимого не сохранилось, но сарай уцелел, и там нашли убежище реб Шемайя, его почти замерзшая жена и семья. Там же его жена по имени Перла, которая уже некоторое время ожидала появления маленького незнакомца, родила красивого черноглазого мальчика, первого ребенка мужского пола. Это была душераздирающая конъюнктура. Его дом превратился в груды дымящихся руин в пронизывающем холоде баварской горной зимы, не сохранилось ничего, кроме нескольких одеял и предметов одежды, его семья ютилась в поисках убежища в сарае, сквозь щели в деревянных стенах которого остро дул холодный ветер; и самое душераздирающее из всего - видеть, как его дорогая жена вынуждена при таких обстоятельствах подвергаться мукам и

опасностям родов. Это была ситуация, которая сломила бы мужество или разрушила веру другого человека. Но реб Шемайя поднял глаза к небу и со всей искренностью и правдой произнес слова: “Я благодарю Тебя, о Владыка вселенной, за то, что Ты добр. Одной рукой Ты поражаешь, а другой исцеляешь. Ты разрушил мое жилище, но Ты также исполнил молитву моего сердца и подарил мне сына”. И действительно, террор и страдания вскоре закончились. Добрые еврейские соседи поспешили открыть свои дома для пострадавшей семьи. Ни мать, ни ребенок не пострадали от сурового воздействия, и черноглазый мальчик впоследствии стал дядей Коппелом, гостеприимством которого я пользовался. Если что-то во всем случившемся и огорчало реб Шемайю остро, так это необходимость принять, пусть даже временно, помощь других. Сам всегда готовый помочь нуждающемуся, он испытывал сильное отвращение к получению такой помощи самому.

Хотя реб Шемайя был, как мы видели, этически благородным и возвышенным персонажем, он ни в коем случае не был мрачным или аскетичным. Напротив, он был естественным и незатронутым в своих поступках, доступным каждому, горячо любил пошутить и был отличным рассказчиком. Несмотря на свою готовность принимать за правду рассказы о несчастьях, он, тем не менее, был превосходным психологом и без труда разбирался в характерах и мотивах тех, с кем ему приходилось контактировать. Эта способность однажды позволила ему сорвать попытку его травли и шантажа и превратить это в свой юмористический триумф.

Нордхайм, что касается большинства его жителей, был глубоко католической деревней. Церковные праздники отмечались там с большой помпой и елеосвящением, а многочисленные религиозные процессии были особенно торжественными и, по сельским меркам, великолепными. В них еврейские жители, конечно, не принимали никакого участия и, действительно, обычно оставались уединенными в своих домах во время их продолжения. Для этого было несколько причин. Поскольку евреи, с католической точки зрения, были еретиками и неверующими, они сами по себе были отстранены от участия в этих христианских торжествах; и их присутствие на улицах в таких случаях было способно, даже в эти более терпимые времена, разбудить дремлющие угольки религиозной вражды и фанатизма. Кроме того, сами евреи, горячие приверженцы своего собственного монотеистического вероучения, предпочли бы принять мученическую смерть, чем участвовать в обрядах, которые они считали близкими к идолопоклонству.

Вскоре после того, как реб Шемайя стал крестьянином и гражданином Нордхайма, деревенскому священнику, который в то время руководил духовными делами общины, пришла в голову блестящая идея, с помощью которой, как он полагал, он мог бы добиться существенного вклада от образованного и набожного нового еврейского домохозяина. Приближался великий церковный праздник — снисходительный читатель любезно извинит автора за его незнание католического богословия, которое не позволяет ему конкретно указать, какой именно, — главным событием которого была особенно большая и пышная процессия. В этой процессии приняли участие практически все жители деревни-язычники, и во главе ее несли великолепное изображение распятого. Обязанность ношения образа выполнялся гражданином, специально выбранным священником и бургомистром совместно с советом; и быть избранным для выполнения этой обязанности считалось высокой честью, и добропорядочные бюргеры-христиане Нордхейма страстно желали этого. Идея нашего священника заключалась в следующем: честь носить изображение должна быть оказана льстивыми словами и сладкими комплиментами реб Шемайе как видному и всеми уважаемому гражданину деревни. Конечно,

хитрый священнослужитель не имел в виду всерьез, что реб Шемайя действительно должен исполнять эту должность, поскольку не могло быть и речи о том, чтобы какой-либо еврей, каким бы достойным он ни был, действительно принимал ведущее участие в торжественных церемониях церкви; но наш достойный богослов хорошо знал, что отвращение евреев к участию в подобных обрядах было даже больше, чем нежелание христиан позволять им это делать, и он не опасался, что реб Шемайя при любых обстоятельствах согласится. Он представлял себе, что произойдет, так это то, что реб Шемайя, узнав о своем выборе на почетную должность носителя изображения, откажется от этой чести на том основании, что его религия не позволяет ему участвовать в подобных мероприятиях; и когда он будет дополнительно проинформирован о том, что гражданин не может отказаться от чести, на которую он был должным образом назначен официальными властями, будет умолять, чтобы его освободили, и, наконец, предложит кругленькую сумму за освобождение. Эта сумма, после различных трудностей и возражений, была бы милостиво принята как знак особого расположения, и, таким образом, маленькая комедия получила бы приятный и прибыльный конец. Преисполненный этой великолепной идеей "испортить египтян", на этот раз в виде еврея, священник поспешил к бургомистру и поделился с ним своим планом. Этот достойный человек, также нисколько не возражавший против небольшого невинного развлечения и получения грязной выгоды от неверующего еврея, сразу же горячо одобрил этот план, и было решено немедленно привести его в исполнение. Соответственно, реб Шемайя был поражен в тот вечер, когда, сидя в своей комнате, отдыхал после дневных трудов, услышав сначала громкий стук старомодным молотком в парадную дверь, а затем из уст своей Перлы, которая пошла ответить на вызов и вернулась с выражением изумления, смешанного с тревогой на лице, слова: "Священник и бургомистр здесь и желают вас видеть".

Реб Шемайя сразу почувствовал, что этот визит предвещает нечто необычное. Он часто встречался и беседовал со священником и бургомистром, поодиночке и вместе; тот и другой также случайно бывали в его четырех стенах, но ни один из них никогда не навещал его официально, и он знал, что этот особый визит двух видных людей деревни вместе, должно быть, имел какую-то особую и необычную причину. Он сразу же решил тщательно обдумать любое предложение, которое они ему сделают, и действовать в соответствии со своим наилучшим суждением и мудростью. Он встал и принял их с большой вежливостью; и после того, как они уселись, в соответствии с его просьбой, он поинтересовался, чему обязан высокой честью их визита. Священник, принимая во внимание уважение, оказываемое его святому призванию, выступил в качестве представителя и объяснил миссию, которая привела их сюда.

"Мы пришли, дорогой реб Шемайя, - сказал он, - как делегация от церкви и светской общины Нордхайма, чтобы показать вам, насколько свободна от предрассудков или фанатизма наша деревня, и, в частности, как сильно мы любим и почитаем вас. Вы, конечно, знаете, что у нас есть твердое правило никогда не оказывать никаких почестей, связанных с обрядами и церемониями нашей святой церкви, никому, кроме истинно верующих, находящихся в полном общении с церковью и на хорошем счету в ней; но мы так сильно любим и уважаем вас, что решили ради вас отступить от этого освященного веками и в остальном неизменного правила и чтить вас так же сильно, как мы чтили бы лучших из наших истинных христиан-бюргеров. Поэтому мы прибыли как делегация, чтобы сообщить вам, что вы избраны на высокую и торжественную должность - нести Святой Образ во время великого шествия в мас пехт, и в то же время поздравить вас с этой редкой честью, которой еще никогда не удостоивался ни один еврей". Реб Шемайя выслушал эту гладкую речь с внешним спокойствием, но с сильнейшим

внутренним волнением. Священник хорошо понимал его истинные чувства. У него самого кровь застыла в жилах при мысли о предложенной чести(?). Что! он, потомок длинной череды мучеников, которые умерли на костре, но не подчинились повелению, прогремевшему среди пламени Синая: “Не делай себе никакого истукана или какого—либо подобия того, что на небесах вверху, или на земле внизу, или в водах под землей; ты не должен ни преклоняться перед ними, ни поклоняться им”; из чьих умирающих уст вырвался крик: “Слушай, о Израиль, Господа Бога нашего, Господь Един” - он должен был идти в процессии святых. чуждый культ и он сам несут образ для идолопоклоннического поклонения толпы! Он почувствовал, как душа его заняла при этой мысли. Но его острый ум и проницательное, интуитивное восприятие соответствия вещей помогли ему выйти из затруднительного положения. Он не уловил нотки искренности в вкрадчивых словах священника; он заметил, что ни его поведение, ни поведение его компаньона, бургомистра, не были в точности такими, какие характерны для людей, желающих оказать честь другому; кроме того, он прекрасно знал, насколько противоречило всем католическим правилам и прецедентам позволять еретикам участвовать в церковных церемониях, и он не мог представить, что для него должно быть сделано исключение, и в мгновение ока ему открылись все коварные махинации, и он понял, что это был всего лишь хитро продуманный заговор с целью вымогательства денег у еретиков. деньги от него в качестве цены освобождения. Он решил с такой же изобретательностью расстроить хитроумный план и не дать заговорщикам возможности позже с громким весельем рассказывать, как ловко они преследовали еврея и шантажировали его. Его первым шагом было выразить свое чувство недостойности оказанной чести. “Я действительно чувствую себя очень польщенным, - сказал он, - этим доказательством уважения, с которым относятся ко мне мои братья-бюргеры; но как я могу принять такое отличие? Я всего лишь молодой гражданин. Есть и другие, старше и более известные, чем я; кроме того, я даже не принадлежу к вашей вере. Я еврей, которого вы считаете неверующим; и как же тогда я могу претендовать на честь, которая должна быть оказана только вашему истинному и несомненному единоверцу?”

“Мы хорошо обдумали эти вещи, реб Шемайя, - сказал священник, - и вам не нужно колебаться, принимая эту честь из-за них. Если мы настолько уважаем вас, что готовы не обращать на них внимания, то, конечно, вам вообще не стоит беспокоиться на этот счет”.

“Но ты, конечно, знаешь, ” сказал реб Шемайя, “ что моя религия также запрещает мне участвовать в подобных церемониях. Иудаизм учит меня, что фундаментальные идеи, которые вы торжественно провозглашаете своими процессиями и другими подобными обрядами, не являются истинными; и я не могу поддерживать их, лично участвуя в богослужениях, проводимых в знак признания и подтверждения их. Для меня, как еврея, незаконно поклоняться изображению или помогать в его поклонении другим. Мне очень жаль, но, хотя я и ценю ту высокую честь, которую вы оказали бы мне, я чувствую, что должен отклонить ее как неподходящую для человека моей веры”.

“Мой дорогой реб Шемайя, ” сказал священник несколько резче, в то время как бургомистр поддержал его угрожающим покачиванием головы, - мне жаль слышать, что вы так говорите. Позвольте мне сказать, что ваши слова неприятны, если не сказать оскорбительны. Отклонять на таких основаниях предложенную вам выдающуюся честь - значит насмехаться над нашей святой верой; это, по сути, оскорбление всей нашей христианской общины здесь, в Нордхайме. Более того, позвольте мне напомнить вам, что это вопрос гражданского долга, и что для гражданина невозможно отказаться от почестей или функций, которые сообщество может

счесть нужным возложить на него. Если бы такое было разрешено, наши гражданские почести могли бы пойти прахом, а любая власть была бы презираема. Вы были избраны, как почетный гражданин, для участия в большой общественной церемонии, и ожидается, что как лояльный бюргер вы забудете о своих религиозных угрызениях совести и выполните свой общественный долг. И как еврей, которому необходимо жить в мире с представителями других вероисповеданий, и как истинный гражданин этого сообщества, мы ожидаем, более того, мы настаиваем, что вы немедленно заявите о своей готовности выполнить долг, возложенный на вас официальными властями сообщества ”.

Эти слова произвели глубокое и очевидное впечатление на реб Шемайю. Он был явно взволнован. Выбор, который поставил перед ним священник, был нелегким. Либо измена его столь горячо любимой вере, либо немилость его соотечественников, и, возможно, наказание как насмешника над устоявшейся религией, либо упрямого отрицателя гражданских почестей.

Священник и бургомистр смотрели на него торжествующими глазами, думая в глубине души, что теперь еврей стоит перед ними на коленях и что сейчас он будет умолять о пощаде и предлагать сделать что угодно или дать любую сумму, лишь бы они освободили его от страшной и отвратительной “чести”. Священник уже обдумывал сумму, которую он должен был запросить в качестве условия освобождения; и бургомистр, предвидя, что бескорыстный (?) ученик потустороннего мира захочет получить львиную долю, решил про себя, что будет настаивать на справедливом разделе добычи, делиться поровну. Но реб Шемайя приготовил для них небольшой сюрприз.

“Ваше преподобие, - сказал он, когда священник закончил свое выступление, “ я прошу у вас прощения за мои поспешные слова, произнесенные без истинного понимания важности дарованной мне привилегии. Ваше доходчивое объяснение полностью убедило меня в том, что я был неправ. Теперь я вижу, что мой долг как добропорядочного гражданина - с благодарностью принимать любые обязанности, которые общество может возложить на меня, даже если они не согласуются с моей религией. Поэтому я принимаю честь, которой вы меня удостоили, и я хочу, чтобы вы выразили мою благодарность достойным членам совета за высокую привилегию, которую я получил из их рук”.

Теперь настала очередь взволноваться священнику и бургомистру. Они с трудом верили своим ушам. Реб Шемайя, еврей, еретик, будет ведущей фигурой в великом массовом шествии! Мысль была ужасающей. Они поняли, что их блестящий план провалился, что еврей восторжествовал, что они попали в неприятную ситуацию, из которой им будет очень трудно выпутаться; ибо, конечно, реб Шемайя на самом деле не был приглашен членами совета, и хитрые интриганы даже не поднимали перед ними этот вопрос. Они были избиты, сбиты с толку, раздавлены. Хуже всего то, что им приходилось притворяться, что они в восторге.

“ Правильно ли я вас понял, реб Шемайя, ” сказал священник, с большим усилием подавляя смущение и заставляя свое лицо принять довольное выражение, “ вы готовы принять эту честь и будете нести изображение на процессии? “Да, ваше преподобие”, - ответил реб Шемайя. “Ваше красноречие убедило меня и побудило поступить именно так”.

“В таком случае, ” ответил священник, “ мы можем считать дело улаженным и теперь прощаемся с вами”. После этого священник и бургомистр удалились. Когда они ушли, домочадцы реб Шемайи, которые с изумлением, не без примеси ужаса, услышали его

заявление о готовности носить изображение, засыпали его вопросами о том, как он мог додуматься до такого. Но реб Шемайя только улыбнулся и не ответил ни слова. Тем временем священник и бургомистр вели жаркую и сердитую дискуссию. Каждый обвинял другого в крайне неловком положении, в которое они попали; но священник больше всего страдал от упреков своего коллеги в беззаконии, поскольку был неоспорим тот факт, что заговор был инициирован им, и ему, как человеку, предположительно обладавшему высшей мудростью, было особенно обидно совершить такую вопиющую ошибку и подвергнуться опасности позорного разоблачения. Итогом их дебатов стало то, что необходимо убедить реб Шемайю изменить свое мнение и отказаться от принятия невозможной чести, которую они ему оказали, и что информация об их плане и о том, каким образом он был сорван, должна быть скрыта от членов совета и народа в целом.

Но кто должен был взять на себя трудную и неприятную задачу по выведению реб Шемайи из заблуждения, задачу, которая, как они ясно предвидели, включала признание их преступных намерений и практически отдачу себя на милость еврея, которого они намеренно замыслили пытать и грабить, и который так ловко повернул против них свою игру? Каждый желал, чтобы другой взял на себя эту неприятную миссию; но в конце концов бургомистр уступил настойчивым мольбам униженного священнослужителя и согласился навестить реб Шемайю и попытаться изменить его неожиданное решение. Соответственно, на следующее утро, очень рано — бургомистр нарочно позвонил так рано, чтобы предотвратить любые попытки реб Шемайи распространить новость о полученной им почести, — бургомистр снова появился в жилище реб Шемайи. Наш друг несколько не удивился, увидев бургомистра; на самом деле, он ожидал, что появится либо он, либо священник, но, как и полагается по долгу службы, выразил большое удивление его ранним визитом.

“Чему обязан честью столь раннего визита, добрый друг бургомистр?” - чему обязан? - спросил он удивленным голосом и выражением лица. “Возможно, есть ли какая-нибудь другая услуга, которую общество требует от меня?”

“Нет, добрый друг Шемайя”, - сказал бургомистр запинаящимся голосом и смущенно, ибо, по правде говоря, он действительно чувствовал себя очень дешево. “На самом деле, я пришел сказать вам, что его преподобие священник и я обсудили вопрос о вашем поведении в качестве носителя образа на обратном пути из вашего дома вчера вечером, и мы пришли к выводу, что мы недостаточно учитывали ваши еврейские предрассудки; и что нам действительно не следует настаивать на том, чтобы вы совершали поступок, который противоречит вашей совести. Поэтому я пришел сказать вам, что вы освобождены от функции, для которой мы вас выбрали, и что вам не нужно действовать как носитель имиджа”.

“Ага, ” подумал реб Шемайя, “ так вот откуда дует ветер! Что ж, так легко ты не отделаешься. Вы и ваш преподобный компаньон должны сначала получить небольшой урок уважения к чувствам других и воздержаться от подобных финансовых авантюр в будущем ”. Затем он заговорил вслух, тоном предельной вежливости и уважения к бургомистру. “Я благодарю вас, достойнейший бургомистр, за деликатность и внимание к моим угрызениям совести, которые проявляются в ваших словах и которые, без сомнения, чувствует и его преподобие священник. Но я также хорошо обдумал этот вопрос, и я не буду просить никаких особых привилегий как еврей. Как его преподобие так хорошо объяснил вчера вечером, это вопрос гражданского долга; и я, как еврей, не хочу уклоняться от какого-либо гражданского долга или слышать, что

мои единовѣрцы не желают выполнять какую-либо задачу, которую возлагает на них государство. Поэтому я не прошу ни о каком освобождении, но с радостью выполню порученную мне задачу и высоко ценю честь, оказанную мне избранием на такую должность”.

Лицо нашего достойного бургомистра, произносившего эти слова, представляло собой зрелище, и его чувства не поддаются описанию. Он являл собой воплощение безвольного отчаяния, крайнего смятения и уныния. Он ясно видел, что нет другого выхода из затруднительного положения, кроме как признаться во всем начистоту, что он, соответственно, и решил сделать. Нет необходимости вдаваться здесь во все подробности разговора, повторять сбивчивые слова растерянного исмущенного бургомистра и негодующие вспышки добродетельного гнева со стороны реб Шемайи. Достаточно сказать, что бургомистр смиренно признался во всем подлом заговоре и умолял реб Шемайю признать его и его товарища виновными и не навлекать позора на них обоих; на что реб Шемайя, после того как его первая вспышка гнева утихла, согласился, но только при условии, что священник, как зачинщик заговора, навестит его и лично попросит прощения.

Оба заговорщика были рады уладить дело таким образом. Священник предстал перед ребом Шемайей следующим вечером со смиренными извинениями, которые тот принял, но только после того, как прочитал смущенному священнослужителю хороший урок о моральных аспектах священнического призвания и о долге уважать чувства и щепетильность тех, кто думает не так, как мы. Официально об этом эпизоде так и не стало известно ничего, но факты каким-то образом просочились наружу, как это обычно бывает с фактами подобного рода, и на долгое время стали обычным разговором в деревне. Этот инцидент заставил взглянуть на реб Шемайю в несколькоином свете, чем до сих пор. Ранее он пользовался репутацией честного и набожного человека; после этого он получил прозвище за пронизательность и остроумие, так что фразы “пронизательный, как реб Шемайя”, “острый, как реб Шемайя” соперничали по популярности в речи Нордхаймера с другими фразами “хороший, как реб Шемайя” и “набожный, как реб Шемайя”.

И вот так этот добрый и благородный человек прожил отведенные ему годы в своем деревенском доме, уважаемый и любимый; да, почитаемый всеми. Как сказал французский король: “*Это все, что есть у меня*”, - так мог бы сказать реб Шемайя, если бы был достаточно эгоистичен, чтобы подумать о таких вещах: “НордхаймКехилла; это я”. Он был единственной доминирующей, затмевающей фигурой во всей общине Нордхайма; так что Нордхайм стал известен как место, где жил реб Шемайя. А жители Нордхайма, находясь вдали от дома и заявляя, откуда они приехали, часто слышали в комментариях слова: “О, так вот где живет реб Шемайя”. Некоторых из менее благодарных прихожан слегка возмутило это превосходство, которого не разделял никто, кроме замечательной жены реб Шемайи, Перлы. Действительно, рассказчик из общины, который также был общинным шутником и юмористом, предположил, что, поскольку реб Шемайя был эквивалентен всей Кехилле, текст молитвы Йекум Пуркан, в которой субботним утром молятся о благословении небес для прихожан, следует изменить таким образом, чтобы благословение распространялось только на реб Шемайю и его достойную супругу. С этой целью он фактически предложил новую формулировку, которую, поскольку она не лишена определенного остроумия и может быть интересна тем, кто знаком с синагогальным ритуалом, я не воздержусь привести в этом месте.

Екум пуркан мин Шемайя

Für die Perla und Reb Shemayah

In Nordheim vor der Rhön,

Be-Номар Омен.

В переводе это сочинение, представляющее собой смесь халдейского и еврейско-немецкого языков, звучит так:

Мое спасение исходит с небес,

Посвящается Перле и Реб Шемайе,

В Нордхайме, перед рекой Рен,

И давайте скажем: аминь.

Но этот мятежный ропот ни в малейшей степени не затуманил ослепительного блеска репутации реб Шемайи как ученого, набожного и великодушного человека. Умело поддерживаемый своей возлюбленной Перлой, которая, со своей стороны, также была образцом добродетелей древнееврейской жены, богобоязненной, скромной, трудолюбивой и мягкосердечной, и которая страдала от недостатка признания исключительно из-за того, что ее затмевали несравненные и исключительные заслуги ее мужа, он поддерживал идеальный дом, в котором неуклонно соблюдались традиционные принципы патриархальной власти и сыновней преданности, строгости, смягченной мягкостью и любовью, и постоянного насаждения высоких этических заповедей. И когда эта нежная и по—настоящему благочестивая пара была похоронена — а это произошло с разницей в несколько коротких дней друг от друга - в маленьком Вечном доме в Уилмарсе на другой стороне холма, слезы потекли из глаз многих сотен тех, кто последовал за ними к месту их последнего упокоения; и все почувствовали, что слова раввинов из Талмуда были слишком правдивы: “Когда истинно праведные покидают место, уходит его слава, уходит его сияние, уходит его великолепие”.

Да, реб Шемайя был венцом истории Нордхайма, время его жизни было золотым веком на страницах его анналов. И поэтому мы лишь бегло взглянем на некоторые другие причудливые или трогательные фигуры, которые жили, двигались и существовали в его древних стенах. Там был старый Элиэзер, который всегда молился, потому что считал греховным злоупотреблять человеческой речью для каких-либо других целей, кроме поклонения Создателю. Он всегда ограничивал свои мирские высказывания как можно более краткими рамками и никогда ни на кого не сердился, за исключением одного случая. Затем именно святая мать писателя, в то время маленькая девочка с живым и юмористическим нравом, имела несчастье вызвать его гнев и даже получить пощечину от его святой руки. Это произошло следующим образом. У Элиэзера не было сыновей, но были две дочери, носившие имена Симха и Глюк соответственно, что в английском языке означает “радость” и “удача”. Эти две дочери, вопреки обычному жребии еврейских девушек Нордхейма, долгое время оставались незамужними, так что в конце концов они вошли в то состояние, которое наиболее ненавистно даже сегодня, в наш век “девушек-холостяков”, но вдвойне ненавистно тогда - в старую девственность. Наконец Симхе удалось обручиться с очень достойным человеком. Элиэзер был вне себя от радости; но Глюк, хотя внешне и был весел, был, что вполне естественно, более чем немного ревнив и недоволен. В этот момент мать, мир ее душе, случайно встретила старого Элиэзера,

возвращавшегося из синагоги, где было объявлено о счастливом событии и должным образом благословлена молодая пара, и, поддавшись минутному озорному порыву, обратилась к нему так: “*Маццол тов, Элиэзер!* Я полагаю, у вашего Глюка, должно быть, отличная *Симха* раз у вашей Симхи такой *Глюк*”. Шутка была хороша, но Элиэзер не ценил юмора, и наградой за это юмористическое усилие была пощечина. Элиэзер не только вообще мало говорил, но и в субботу он вообще избегал вульгарного наречия и говорил только на иврите, который он один считал подходящим, как священный язык для святого дня. Но поскольку он был кем угодно, только не знатоком иврита, результаты его усилий по возвращению в разговорный обиход идиомы древнего Ханаана я оставляю на усмотрение читателя.

Затем был Ашер, *Хазан*, который на самом деле не был хазаном или официальным регентом синагоги, а мелким трудолюбивым торговцем, который обеспечивал себя и свою семью неустанным трудом и прилежанием, но которого называли Хазаном из-за его замечательного знания традиционных мелодий немецко-еврейского ритуала. Эти мелодии он мог петь с большим мастерством и приятным голосом; и его исполнение богослужений так понравилось прихожанам, что они без колебаний сказали, что Ашер “был лучшим хазаном, чем сам Хазан”. Ашер в целом был приятным и дружелюбным человеком; но если кто-то хотел заслужить его особую и вечную благодарность, не было лучшего способа сделать это, чем сообщить ему какую-нибудь новую *ниггеровскую* мелодию на иврите. Мне посчастливилось рассказать ему о некоторых более современных синагогальных песнопениях, которые я слышал в Америке и которые ему, в его изолированной деревенской жизни, никогда не доводилось слышать; и я не сомневаюсь, что он с благодарностью вспоминает меня по сей день. Ашер и два его брата были *коганим*, то есть имели ааронитское, или священническое происхождение. Таким образом, произносить троекратное благословение над прихожанами по праздникам было их прерогативой и прерогативой их сыновей; и действительно, было трогательно слушать их торжественное и мелодичное исполнение древнего песнопения и замечать достоинство и серьезность, с которыми они готовились к выполнению своей традиционной функции. Смотреть на них во время произнесения благословения было запрещено.

Затем был Исаак, *Шлемиль*, благонамеренный, серьезный борец, но при этом совершенный тип *Шлемиля* или еврейского бездельника, на чьи начинания, казалось, никогда не нисходит благословение. Он работал, вероятно, усерднее, чем трое любых других членов “Кахиллы”; но в его руках самые честные проекты, казалось, терпели крах, а самые многообещающие коммерческие предприятия превращались в полынь и пепел, в содомские яблоки и горький виноград. Но Шлемиль, каким бы совершенно бесполезным он ни был для себя и своей семьи, имел одну совершенно очевидную цель в жизни, а именно - открывать сердца своих собратьев для порывов доброты и великодушия. Они, безусловно, вели себя по отношению к нему самым сочувственным и братским образом и не позволили ни ему, ни его семье пострадать. На момент моего прибытия в Нордхайм Исааку только что удалось в результате одной из своих обычных сделок потерять все, что у него было, и наложить арест на свой дом, который он получил как часть приданого своей жены, в счет погашения его долгов. Но нордхаймский Кехиллах с помощью нескольких доброжелательных друзей из других мест расплатился с его долгами, выкупил дом и снабдил его определенной суммой капитала, с которой он мог начать жизнь заново. В целях безопасности Кехиллах сохранил за собой право собственности на дом, поскольку, как сказал мне по секрету дядя Коппел, “В противном случае нам, возможно, пришлось бы покупать дом каждый год”.

Особенно интересным персонажем был Давид, торговец лошадьми, веселый, крепкий парень, к тому же красивый, высокий и сильный, как лев, очень “могущественный человек в Израиле”. Он был верным другом и надежен, и на него можно было положиться в трудную минуту ради того, кто когда-то завоевал его дружбу. Но у Дэвида была одна слабость, возможно, не противоестественная для людей его профессии. Он не испытывал угрызений совести в отношении сделок с лошадьми; и некоторые из его достижений в этой области были, если верить сообщениям, по меньшей мере, чрезвычайно рискованными. Так, ему приписывали то, что он однажды продал прусскому майору, который гордился своим глубоким знанием породы лошадей, лошадь всего с тремя копытами. Говорили, что Дэвид проделал этот трюк следующим образом: сделка состоялась в середине зимы, когда земля была покрыта снегом глубиной в фут или больше. Лошадь была прекрасным животным, угольно-черным и красивой формы, за исключением того, что отсутствовало левое переднее копыто. Дэвид вывел лошадь из конюшни, и поскольку она стояла в глубоком снегу перед прусским майором, который критически разглядывал ее через свои очки, отсутствие копыта не было заметно. Затем он пустил его шагом, яростно щелкая кнутом, так что лошадь подпрыгнула и понеслась самым яростным образом, и отсутствие копыта снова не было заметно. Майор был очарован живостью и грацией животного, немедленно купил его, заплатил за него и приказал отправить к нему на квартиру. Говорят, что позже майор был в ярости, не столько из-за потери денег, сколько из-за того, что его, эксперта, так ловко обманули, и из-за того, что у него не было средств правовой защиты против Дэвида. Если бы Дэвид поставил фальшивое копыто вместо отсутствующего члена, он был бы подвергнут суровому наказанию за мошенничество; но он этого не сделал и не делал ложных заявлений. И поэтому у майора не только не было против него дела, но он даже не мог потребовать отмены продажи. Таким образом, история, за правдивость которой я не ручаюсь. Но, какой бы слабой ни была совесть Дэвида в вопросах торговли лошадьми, в остальном его поведение не заслуживало упреков, и его очень любили.

Многие были достойными и привлекательными персонажами "Кехиллы" Нордхайма, и я не могу пытаться описать или даже упомянуть их всех. О дяде Коппеле и тете Каролине я уже говорил. Дядя Коппел был типичным евреем *Бааль-Ха-Байит*, или домохозяином, честным бизнесменом, чье слово было так же крепко, как и его обязательства, верным поклонником у алтаря Бога Израиля и достойным защитником репутации реб Шемайи, своего отца, если не по образованию, то по характеру, если не по образованию. Тетя Кэролайн была настоящей матерью в Израиле, верной, добросовестной и набожной. Их способные сыновья и очаровательные темноглазые дочери были проникнуты их духом, и вместе они образовали идеальную семью. Я также не должен забывать тетю Геллу, единственную дочь реб Шемайи, оставшуюся в родной деревне, женщину благородного происхождения, которая, если бы ее судьба сложилась где-нибудь в другом месте большого мира, могла бы сыграть важную роль в истории. Ее благородный лоб, который так скромно выступал из глубин ее *Шейтеля*, и ее кроткие и ясные голубые глаза свидетельствовали о том, что она обладательница сильного и хорошо развитого интеллекта; а ее мудрая и взвешенная беседа показывала, что реальность соответствовала показаниям. Ее сердце было таким же теплым и добрым, а дух таким же твердым и отважным, как ее ум острым и ясным; и она была, так сказать, одновременно оракулом и леди Баунтифул в деревне. Если бы какая-нибудь женщина или, если уж на то пошло, любой сельский житель мужского пола попал в беду, нуждался в совете или помощи, она или он направил бы ее или свои стопы к аккуратному коттеджу на Длинной улице, где жила тетя Гелла, и там нашел бы совет или утешение, или любую другую помощь, которая

требовалась. Однажды на деревню обрушилась эпидемия дизентерии, и тогда-то тетя Гелла проявила себя настоящим ангелом-помощником. Пока это продолжалось, она почти ничего не ела, не пила, не спала и не меняла одежду. Она с неутомимой энергией выполняла свою миссию милосердия, переходя из дома в дом среди страждущих, принося нужные лекарства одному, нужную еду другому и деньги третьему. Дорогая тетя Гелла, мне кажется, сейчас я вижу ее милое, кроткое лицо и слышу слова благословения, с которыми крестьянин и еврей упоминали ее имя. И помимо тех, кого я упомянул, были десятки домохозяев, для которых благочестие, честность и любящая доброта были постоянно практикуемыми правилами жизни.

Да, Нордхайм, я очень любил тебя, и я люблю память о тебе. Я любил тебя за твою простоту, за твою природную доброту, за истинный и непритязательный способ, которым ты делал упор на то, что чисто и благородно, и отвергал то, что является низким и порочным в человеческой жизни; за то, что ты показал мне картину украшающего и освящающего действия простого, искреннего и честного иудаизма, который просто и искренне жил. Ты был одной из сил, которые привели меня к любви и соблюдению Торы и к вере, которую мои и твои предки получили на Синае от Бога Синая.

О, если бы эта история о тебе могла так же подействовать на сердца других, подобных мне, детей неверующего и непочтительного возраста, и пробудить в них любовь к Богу Израиля и преданность священному наследию Израиля!

МАЛЕНЬКАЯ ТОРГОВКА ХРЕНОМ.

Многие ли из моих читателей знают маленькую женщину с хреном? Многие, я не сомневаюсь, более или менее знакомы с ней, а те, кто не знаком, могут познакомиться с ней без каких-либо затруднений. Почти в любой день и до позднего вечера, за исключением субботы или еврейских праздников, ее можно застать на своем посту в одном из кварталов верхней Третьей авеню в Нью-Йорке, она стоит за своим импровизированным столиком, усердно вытирая свой едкий товар, лишь изредка останавливаясь, чтобы вытереть уголком белоснежного фартука слезы, которые из-за ее слезливости текут из глаз, или раздать покупателям необычайно щедрые порции готовой продукции. Размер порций, которые она продает, просто поражает покупателя; но маленькая продавщица хрена скрупулезно честна в вопросах веса и меры, моей и твоей, и не подумала бы дать меньше.



МАЛЕНЬКАЯ ЖЕНЩИНА С ХРЕНОМ

Страница [84](#)

Ее слезы тоже весьма примечательны. Действительно, я считаю, что слезы из хрена не были оценены должным образом, поскольку они являются видом полностью *sui generis*, и их не

следует путать ни с какими другими слезами, которые проливаются на земле. Обычные, повседневные слезы указывают на печаль и порождают слабость; крокодиловы слезы указывают на лицемерие и вызывают отвращение; но слезы цвета хрена рождаются трудолюбием, а их порождением являются энергия и хорошее настроение. Так, по крайней мере, обстоит дело с нашей маленькой женщиной-хреном; ибо, как только она утирает один из своих периодических взрывов слез, она снова начинает утираться с предельной энергией и лучшим юмором в мире. Мое наблюдение за слезами, которые проливает женщина с хреном, сделало меня их убежденным поклонником. Мне не нравятся слезливые припадки отвергнутых любовью дев, хнычущих парней, хрипящих или льстивых Пекснифов. Дайте мне слезы с хреном; это самые честные, самые жизнерадостные — я чуть было не сказал — самые мужественные слезы в мире.

Наша любительница хрена известна под разными именами. Некоторые называют ее “старая Ребекка”; другие, желая говорить более официально или уважительно, называют ее “старая миссис Леви”; но наиболее широко и популярно она известна под прозвищем *das Meerrettich Weible*- маленькая женщина с хреном. Однако не имеет значения, под каким названием она известна, она популярна под всеми ними, потому что маленькая женщина-хреновина всем нравится. Некоторые любят ее за мужество, за то, что она так постоянно и прилежно трудится и обеспечивает себя в своем преклонном возрасте; другие любят ее за ее неизменную жизнерадостность и добродушие; третьи, опять же, за ее простую, доверчивую веру и искреннее благочестие, потому что маленькая женщина с хреном более, чем обычно, религиозна, и ее можно встретить в синагоге не только по субботам и праздникам, но и на ранних утренних и вечерних службах в будние дни, и она одна из самых внимательных слушательниц раввина, когда он излагает Седрах в субботу. утром или “изучает шиур” в субботу днем или вечером в будний день.

Это поистине приятная картина, которую представляет маленькая женщина с хреном, когда она стоит на своем посту, готовая к работе. Ее правильные и утонченные черты, характерные для еврейского типа, правда, изношены и покрыты морщинами, а волосы, выбивающиеся из-под матерчатой ленты и старомодной шляпки, венчающей ее голову, побелели за семьдесят или более зим, которые прошли над ней; но свет ума, доброжелательности и чистых и утонченных чувств сияет в ее лице и делает его необычайно привлекательным. Ее одежда самая простая. На ней платье из какого-то простого темного материала, а поверх него длинный белый фартук; но нигде не видно ни заплат, ни прорехи, ни пятнышка, и мы инстинктивно чувствуем, что перед нами человек, который, хотя и находится в скромных, даже неприятельных обстоятельствах, от природы утончен.

Но мы еще не знаем эту маленькую женщину с хреном. Только вступив с ней в разговор, мы действительно узнаем, кто она на самом деле, и тогда нас ждет большой сюрприз. Ибо эта бедная, маленькая, пожилая женщина, которая стоит на улице в любую погоду и время года и так усердно трудится, чтобы заработать несколько центов на продаже своего товара, происходит из прекрасной семьи, получила для своего времени исключительно хорошее образование и в некоторых отношениях является удивительно образованной женщиной.

Она родилась в семье раввина в маленьком провинциальном городке Германии, и ее отец, помимо того, что вложил в ее душу семена горячего еврейского благочестия, позаботился о том, чтобы она получила тщательное светское и религиозное образование. Как следствие, ее

манеры соответствуют манерам вежливых и хорошо воспитанных людей, ее немецкий чист и корректен в грамматике и произношении, и, что самое удивительное и приятное для еврейского ученого, она знакома со всей Библией в оригинале на иврите. Книгу Псалмов она знает наизусть и цитирует с удивительной беглостью; и из своего опыта в доме своего отца она извлекла большое количество технических талмудических фраз, которые она использует в своей беседе со всей корректностью выражения и применения.

И самое замечательное из всего этого - полное отсутствие застенчивости у маленькой женщины-хрена. Она совершенно не осознает, что в ее жизни, в ее характеристиках или в ее обстоятельствах есть что-то необычное. Она никогда не комментирует различные условия, преобладающие сегодня, никогда не хвастается и не осуждает, проста, естественна и незатронутая; типичная, скромная, набожная еврейская женщина. О, если бы вы могли приехать, вы, искусственные, притворные дочери искусственной, притворной эпохи, и научиться простой утонченности и естественному достоинству у своей скромной сестры! Этот урок необходим и окажется эффективным.

В прошлую субботу вечером, после “выхода из дома” в субботу, мы с женой тоже решили прогуляться по Третьей авеню. Мы часто совершаем такие прогулки и наслаждаемся ими. Моей жене нравится возбуждение от огней и толпы, благодаря которым вдвойне приятно встретить знакомого или совершить случайную покупку; и я в равной степени люблю изучать человеческую природу там, где она проявляется наиболее характерно, в оживленных толпах мужчин. Мы уже некоторое время не видели продавщицу хрена, потому что в последнее время она отказалась от своей привычки приходить к нам со своими товарами, и ее прилавка не было ни в одном из кварталов, которые мы обычно проходили.

В тот вечер мы продолжили нашу прогулку немного дальше, чем обычно. Когда мы приближались к —ой улице, вдруг миссис ... воскликнула: “Смотрите, вон та маленькая торговка хреном!” Конечно же, это была она, и мы немедленно подошли к ней.

Пока она отвечала на наше приветствие с большой сердечностью и дружелюбием, я заметил, что она выглядит не так хорошо, как обычно. Ее движениям не доставало обычной живости, а лицо казалось тоньше и бледнее, чем обычно.

“Как у вас дела, миссис Леви? - Спросила я, пока она насыпала в пакет заказанную нами порцию хрена.

“*Борух Хашем*, вполне здоров”, - ответила она с улыбкой. “Мои друзья хорошие и постоянно покровительствуют мне, но я чувствую, что становлюсь старше. На днях я был очень болен. Я чуть не упала в обморок здесь, на улице, но люди в магазине деликатесов были очень добры. Они отвели меня в дом, напоили холодной водой и держали там, пока я не поправился; и сейчас я чувствую себя вполне хорошо”.

Слушая ее слова, я подумал про себя, насколько тяжела ее участь; и я спросил себя, действительно ли ей было необходимо стоять на улице и зарабатывать себе на жизнь таким тяжелым способом.

“Моя добрая миссис Леви, - сказал я, - вам не кажется, что ваша жизнь слишком тяжела для вас? Разве вы не предпочли бы отправиться в какое-нибудь учреждение, где о вас заботились бы?”

“О, нет, спасибо”, - ответила она. “Я не хочу ехать в приют. У меня есть муж, хотя он стар и немощен, и хорошие дети, которые делают для меня все, что в их силах; и я рада, что все еще могу сама что-то зарабатывать. Ты знаешь, что говорит царь Давид в Псалмах, - и она бойко процитировала: *”Егиа кеппечо ки сочел, ашречо ве-тов-лох”* (“Если ты ешь то, что зарабатывают твои руки, ты счастлив, и тебе хорошо”). “Я ем то, что зарабатывают мои руки, поэтому я счастлив”.

- Почему ты больше не приходишь к нам домой? - вмешалась моя жена.

“О, - ответила маленькая продавщица хрена, - Я слышала, что другая женщина приносит вам ваш хрен, и я не хотела быть *массигом гевулом*”.

Наша посылка была готова, и мы отправились в путь. Но мои мысли не давали мне покоя. Я постоянно думал о маленькой женщине с хреном и о том, нельзя ли придумать какое-нибудь средство улучшить ее участь.

В нескольких кварталах дальше по проспекту мы встретили мистера и миссис Бергхайм. Они наши друзья и соседи, и наши приветствия были сердечными. Вскоре я перевел разговор на то, что занимало больше всего мои мысли.

“Ты знаешь эту маленькую торговку хреном, не так ли? - Спросил я.

Бергхеймы согласно кивнули.

“Тебе не кажется, что для нее можно что-нибудь сделать? Я продолжил. “Действительно, кажется неправильным, что такой достойный пожилой человек вынужден стоять на улице и так тяжело трудиться, чтобы заработать на жизнь”.

Бергхеймы как-то странно улыбнулись друг другу.

“Что бы вы сделали для нее?” - спросил мистер Бергхайм. “Она слишком горда, чтобы принимать благотворительность; кроме того, ей действительно не нужно работать, поскольку ее дети обеспечивают ее всем необходимым для себя и мужа. Ее квитанции с хреном - это такой дополнительный доход, который она зарабатывает”.

Должен признаться, что этот ответ меня несколько ошеломил. В женщине с хреном, по-видимому, была какая-то тайна, которая, мягко говоря, озадачивала.

“Но почему, во имя здравого смысла, - спросил я, - такая пожилая и не слишком сильная женщина трудится на улицах, в дождь и зной, днем и ночью, если у нее есть все, что ей нужно, и нет необходимости работать?” Это кажется неразумным. Надеюсь, ее верхний этаж не тронут?

“О нет, вовсе нет, ” сказал Бергхайм. “но, видите ли, у нее довольно необычные и возвышенные представления о долге. Поскольку потребности ее самой и мужа удовлетворены и у нее есть немного сил, она считает своим долгом трудиться на благо бедных. Каждый цент, который она зарабатывает, продавая хрен, она отдает бедным. Это немалая сумма, потому что у нее много клиентов; и довольно длинный список вдов, сирот и немощных стариков, которые регулярно получают пенсию благодаря ее благотворительности.

“Каждый *Рош Ходеш* в ее скромной квартире собирается немало народу. Всевозможные нуждающиеся и страждущие люди, мужчины, женщины и дети, толпятся в ее комнатах, и она

делит между ними, с самым добрым сочувствием, но с отличным суждением, все деньги, которые она заработала за месяц. Благословения, которые она получает, неисчислимы, и она считает себя хорошо вознагражденной за все свои хлопоты.

“Я узнал об этом случайно, так как она никому никогда не говорит об этом ни слова. Когда я спросил ее, зачем она пошла на все эти хлопоты, она процитировала отрывок из Пятикнижия: "Истинно, не ожесточай сердца твоего и не сжимай руки твоей против бедного брата твоего"; и еще один отрывок из Этики Отцов: "Бедными будут дети в доме твоем", - и сказала, что таковы были ее доводы.

“Вот почему, моя дорогая, ты ничего не можешь сделать для этой маленькой продавщицы хрена, кроме как быть ее покупательницей и щедро покровительствовать ей. Она не нуждается в благотворительности и не примет подарков для "своих бедных", которым она хочет помочь из своего собственного заработка".

Таково было объяснение загадки. Маленькая женщина с хреном подражала труду Владыки вселенной, трудилась с утра до позднего вечера, чтобы накормить Его голодных, осушить слезы Его страждущих, позаботиться о Его бедняках. Я был восхищен как благородной душой этой смиренной дочери Израиля, так и возвышенной славой закона Израиля, который вселил такие мысли в ее душу.

Я решил, что в следующий раз, когда увижу маленькую женщину с хреном, я произнесу над ней благословение, которое раввины предписывают произносить при виде королей и королев, ибо она настоящая королева, некоронованная королева милосердия и любви. “Благословен Ты, Господи, отдавший часть славы Твоей плоти и крови”.

ГЕНЕРАЛ.

Сегодня утром у меня в кабинете собралась знатная компания. Не кто иной, как генерал. Сергей Павлович, покойный командир четвертой дивизии регулярной российской армии, оказал вашему покорному слуге честь своим визитом и сейчас сидит в кресле-качалке напротив моего стола. Я должен, однако, попросить моих читателей не слишком напрягать свое воображение, рисуя перед своим мысленным взором подходящую картину военной пышности. Генерал не облачен в парадную форму, обильно расшитую галунами, и не сияет сверкающими эполетами и пуговицами. На голове у него нет шлема с плюмажем; сбоку не болтается бряцающая сабля; на нем нет ни перчаток, ни сапог, ни шпор. Его внешность не ослепила бы стороннего наблюдателя и не внушила бы благоговейный страх самым робким; на самом деле, никому бы на первый взгляд не пришло в голову каким-либо образом связать его с марширующими войсками или воинственными сценами. Когда он сидит в моем кресле-качалке, пристально глядя на меня своими кроткими голубыми глазами, на голове у него маленькая черная тюбетейка, его длинная белоснежная борода ниспадает на рубашку и черный суконный сюртук; в руке у него крепкая трость для помощи при ходьбе, которая с возрастом стала несколько нетвердой, когда он рассуждает о деле, представляющем чисто синагогальный интерес, в нем нет и намек на воинскую славу, ни намек на стон, агонию и героизм битвы. Он кажется простым, повседневным пожилым русским евреем, застенчивым и замкнутым в мирских делах, но

достаточно сообразительным в вопросах, касающихся евреев, изучения иврита и религиозной практики, одним словом, такого человека можно найти в любой из ортодоксальных синагог Нью-Йорка, но особенно в нижнем Ист-Сайде, где больше всего мест поклонения и торжественных собраний его братьев и соотечественников.



Но теперь мой посетитель завершил дело, которое привело его сюда, и встает, чтобы уйти. Сразу же можно заметить огромную перемену в производимом им впечатлении. Сейчас он действительно кажется отличным от обычного так называемого типа из Гетто, с которым он казался идентичным минуту назад. В нем есть что-то командное, что-то бесконечно военное и авторитетное. Несмотря на слабость, он стоит совершенно прямо, а его фигура и выправка вполне военные. Военным является и почти болезненная опрятность, характеризующая его одежду, от хорошо вычищенных шляпы и сюртука до начищенных до блеска ботинок, как бы отдаленное напоминание о тех днях, когда тусклая пуговица или обтрепанный рукав сюртука означали позор и гауптвахту; но более всего военным является его правый рукав, потому что он висит пустым, и только короткий обрубок заполняет верхнюю часть возле плеча, немое напоминание о кровавом Севастополе, где британская сабля разрубила руку, которой он принадлежал, надвое, а его владелец парил в воздухе. на многие дни между жизнью и смертью.

Это Общее. Возможно, строго говоря, он и не заслуживает этого титула, поскольку он давно был вычеркнут из списков русской армии и мог бы даже понести достойное наказание, если бы вернулся на родину; но когда-то он носил его с полным правом и властью, и никакой военной недостаток, никакой недостаток верности или мужества на поле боя не были причиной его утраты. Поэтому вполне естественно, что его друзья и соседи, знающие его историю, присвоили ему этот титул. Итак, он есть "генерал" и "генералом" останется, пока смерть не призовет его на его последний долгий бивуак. Какая огромная перемена в государстве и судьбе! Когда-то выдающийся военачальник, малейшему приказу которого тысячи спешили повиноваться из-за его героизма; любимый своими соотечественниками и почитаемый своим императором; муж дочери известного генерала, со всеми перспективами, сулящими быстрое продвижение по службе и, в конечном итоге, высочайшее звание; теперь скромный обитатель безвестной улицы в еврейском квартале Нью-Йорка, его жизнь ничем не отличается от жизни других длиннобородых завсегдатаев синагоги и Бет Хаммидраш.

Как получилось, что этот еврей, сын запрещенной и отверженной расы, достиг такого выдающегося положения на службе у гонителей своего народа? Как получилось, что он потерял это и снова погрузился в ту низость, из которой вышел? Это странная история, показывающая, какие мрачные романы, какие душераздирающие трагедии еврейская жизнь все еще способна породить в царской империи. Я расскажу это вам.

Около семидесяти лет назад в одной из западных провинций России жила молодая пара. Мужа звали Израэль Рабинович, а супругу - Малка Фейге. Они были благочестивой и достойной парой. Муж был уважаемым торговцем, чья скрупулезная честность и коммерческая прямота ценились не меньше, чем его непоколебимая религиозная верность, а также точность и обширность знаний иврита, которые он демонстрировал вталмудических дебатах круга "учеников" в Бет Хаммидраше. Малка Фейге была достойной парой для такого мужа. Добросердечная, неутомимо трудолюбивая и набожная, она была типичной еврейской домохозяйкой.

У них был всего один ребенок, голубоглазый светловолосый восьмилетний мальчик, которого они любили со страстной преданностью, на которую способны родительские сердца, когда у

них есть только один объект, на котором можно сосредоточить свою привязанность. Он был буквально зеницей их очей. Его отец заботился о его интеллектуальном благополучии и предоставил лучшего и наиболее уважаемого *Меламмедима*, чтобы тот познакомил его с тонкостями еврейского образования того времени; и мальчик, обладавший ярким и острым интеллектом, хорошо откликнулся на эти усилия и в восемь лет был настоящим маленьким вундеркиндом в изучении Библии и талмуда. Его мать, с другой стороны, заботилась о его физическом благополучии, кормила его изысканной пищей, одевала в *юбочку* из очень тонкой ткани, расчесывала его маленьких *пиотов* до блеска и с гордостью стремилась сделать его красивее и ярче своих товарищей. Подобно Ханне в древности, она твердо решила посвятить свое потомство Господу. Уже в воображении она видела его сидящим на троне раввина, встречаемого аплодисментами тысяч восхищенных людей; и так сильна была ее вера в это будущее для своего сына, что она редко называла его по имени, которым был Саул Исаак, но всегда называла его “мой маленький раввин”. Таким образом, любовь, надежды, честолюбие этих родителей были сосредоточены на этом, их единственном сыне.

Тогда только начинались смутные времена для потомков Иакова, живших на московской земле. Николай Первый восседал на царском троне и, как и многие русские правители до и после него, не мог найти более неотложной задачи, чем обратить своих еврейских подданных в христианство. Он не испытывал никакого уважения к совестливым соображениям, которые поддерживали верность евреев религии их предков; он не мог оценить героизм, с которым они переносили все мыслимые страдания и мученическую смерть, вместо того чтобы перестать верить в верность, данную своему Богу. В его глазах они были всего лишь толпой упрямых еретиков, которые отказывались видеть красоту и принять спасение христианства. Он думал, думал и ломал голову, чтобы изобрести какой-нибудь план, с помощью которого можно было бы преодолеть бесконечное сопротивление иудаизма его собственному распаду, и, наконец, разработал план, который из-за явной дьявольщины и утонченной бессердечной жестокости сделал бы честь самому черному исчадию ада в легионах сатаны; и это тоже во имя религии, которая провозглашает любовь и нежность своей особой прерогативой и спокойно считает весь прогресс человечества и цивилизации делом своих рук.

Короче говоря, его план состоял в том, чтобы разлучить родителей и детей. Он знал, что со старыми евреями ничего нельзя сделать. Они пойдут на костер или в темницу и не отрекутся; но если, рассуждал он, молодые евреи смогут освободиться от родительского влияния, могут быть, так сказать, пойманы до того, как сформируются их характеры, и будут переданы под опеку священников или других христианских чиновников, они не смогут сопротивляться, но поддадутся мощному давлению, оказываемому на них, и станут подлинными христианами.

Этот дьявольский план он с ледяной обдуманностью приступил к приведению в исполнение. Какое ему было дело до жестокости или насильственного разрыва естественных отношений, до слез перепуганных детей, до неизмеримого горя и разбитых сердец осиротевших родителей. Взгляды его тирана на управление государством одобрили этот план, и другие соображения не имели значения. Затем легионы жестоких эмиссаров были отправлены в провинции, отведенные для проживания детей Иакова. Их поведение скорее напоминало поведение разбойников, чем представителей закона. В таком количестве, что оно не поддавалось сопротивлению, они нападали на какое-нибудь ничего не подозревающее еврейское поселение, обычно глубокой ночью; врываются в дома и, совершенно игнорируя все соображения справедливости или неистовые мольбы о пощаде, вырывали плачущих и

охваченных ужасом детей изрук их кричащих и отчаянно сопротивляющихся родителей, бросали их в стоящие наготове повозки и увозили, чтобы никогда больше не возвращаться.

Потребовалось бы перо Данте и кисть их собственного Верещагина, чтобы достойно изобразить ужасные сцены, происходившие во время этих посещений, демоническую жестокость приспешников деспота, беспомощный ужас детских жертв и невыразимую, парализованную агонию несчастных отцов и матерей, которые видели, как их любимых уводят туда, что для них было хуже смерти, и ничего не могли сделать, чтобы спасти их от их участи.

Та же участь постигла и нашего Саула Исаака. Это была холодная ночь середины зимы. Семья Раввиновичей мирно спала, не подозревая о зле. Внезапно звук мощных ударов в дверь заставил их в ужасе проснуться. Они слишком хорошо знали, что означают эти звуки, хотя не поступало никаких сообщений о том, что “чапперы”, как их называли, приближаются к их провинции. Охваченные агонией родители поспешно попытались найти какое-нибудь укрытие для своего сына. Секунду спустя дверь рухнула под градом обрушившихся на нее ударов, и в комнату ворвались несколько хулиганистого вида мужчин, одетых в униформу. Не предъявив никакого ордера и не предложив ни слова объяснения, они схватили съездившегося парня. Они грубо оттолкнули Израэля, который хотел было запротестовать, и отшвырнули Малку Фейге, которая цеплялась за них в полубезумной попытке спасти своего мальчика. Самого парня они бросили в фургон, в гущу двадцати или более других парней, которые уже съезжились там, и уехали.

Давайте опустим завесу над невыразимыми горестями этой родительской пары, столь подло лишенной возлюбленного своих душ. Только Небеса властны исправлять подобные ошибки, и мы должны верить их милосердию и справедливости небес.

Давайте последуем за Саулом Исааком по пути, которому он был вынужден следовать. Поначалу его опыт не отличался от опыта тысяч других. Его отвезли в женский монастырь Святой Софии в окрестностях Москвы. Там ему дали основательное русское и христианское образование, и с помощью доброты и строгости было приложено все усилия, чтобы побудить его добровольно принять крещение, поскольку даже извращенные и деспотичные умы его похитителей понимали, что принудительное совершение обряда не может быть обязательным для совести. Безусловно, их представления о добровольных действиях были довольно казуистичны. Жестокие избиения, периодический голод и более длительные или более короткие сроки тюремного заключения - все это считалось законными формами миссионерской деятельности, с помощью которых можно было убедить кантонистов, как называли похищенных еврейских детей, в превосходстве христианства над иудаизмом и побудить их *добровольно* принять его.

Это славная дань силе еврейских учений, что большинство этих беспомощных жертв, несмотря на их нежный возраст и жалкое состояние, ни в коем случае не спешили поддаваться жестокому обращению или уговорам своих хозяев. Большинство из них сопротивлялись годами; некоторые так и не сдались.

Потребовалось четыре года, чтобы привести нашего Савла Исаака в состояние ума, необходимое для принятия христианства. Сначала он постоянно плакал и причитал и не прикасался ни к какой пище, кроме сухого хлеба и воды; и, несмотря на свой юный возраст, он отказался слушать наставления русских монахов. Но по мере того, как недели складывались в месяцы, а месяцы - в годы, когда он не видел других лиц язычников и не получал никаких вестей

от своих родителей или других евреев, постепенно его воспоминания становились все более тусклыми, а решимость слабела. Наконец он больше не возражал против христианских наставлений, и на двенадцатом году жизни был крещен с большой помпой и парадом в часовне монастыря, получив имя Сергей Павлович. С этого времени его продвижение по службе было стремительным. После трех лет общего образования он решил сделать военную карьеру и на пятнадцатом году жизни поступил в Императорское кадетское училище в Санкт-Петербурге.

Память о родителях совершенно стерлась из его памяти; или, если мысль о них когда-либо приходила ему в голову, они казались призрачными фигурами нереального мира, полностью лишенными реальности или связи с его нынешним существованием.

Сергей Павлович был одним из самых популярных учеников Кадетской школы. Его быстрый интеллект, позволивший ему разобраться в сложных дебатах Талмуда, сослужил ему хорошую службу в освоении тонкостей военной науки, в то время как его красивая фигура в опрятном русском мундире и его вежливые и услужливые манеры нравились всем. Со временем он получил звание лейтенанта артиллерии.

Его карьера в армии оправдала ожидания студенческих лет. Он сочетал в себе два наиболее необходимых военных качества: высокую работоспособность и непоколебимую верность долгу. Он быстро стал капитаном, а затем полковником артиллерии.

Занимая последний пост, он привлек внимание, а затем пробудил любовь Ольги, прекрасной дочери генерала Владимира де Миткевича. Вскоре после этого генерал послал за ним и в надлежащей форме и в самых лестных выражениях предложил сделать его своим зятем. От такой высокой чести нельзя было отказаться. Конечно, мгновенная боль пронзила сердце молодого полковника; и смутные лица его отца и матери, казалось, восстали из мрачных глубин прошлого и укоризненно посмотрели на него, но эти ощущения были слишком смутными, чтобы произвести какой-либо эффект. Он принял предложение почтенного генерала, которое было, действительно, в высшей степени лестным, и из-за которого он стал объектом многочисленных поздравлений и немалой зависти.

В великолепном Курско-Казанском соборе бракосочетание бравого полковника Павловица и прекрасной и образованной Ольги де Миткевич завершилось со всем великолепным церемониалом греческой церкви и среди беспрецедентной демонстрации богатства и роскоши. Огромное здание было переполнено представителями самых благородных семейств провинции, в то время как улицы, окружающие собор, были запружены огромным количеством представителей низшего сословия; и личный интерес и удовлетворение, которые все проявляли, были совершенно необычайными.

Нельзя отрицать, что поразительное внимание и лесть, объектом которых стал полковник Павловиц, почти вскружили ему голову. Ни в одной другой стране почести не ценятся так высоко, как в России; и те, которые он получил, были совершенно исключительными как по масштабу, так и по сердечности.

Он был счастлив, очень счастлив; счастлив от обладания лучезарным, прекрасным созданием, которое он мог теперь назвать своим, и в чьих сверкающих глазах светились любовь и преданность, пылкие и искренние; он был счастлив от явной симпатии и восхищения всех своих товарищей, и он был счастлив от сознания того, что его будущее обеспечено и что ему суждена блестящая и выдающаяся карьера. Очень слабыми и тусклыми, действительно, были теперь

образыпризрачного прошлого, и они ни в малейшей степени не влияли на его действия; но так или иначе они не покидали его, и он часто ловил себя на том, что с раздражением и нетерпением спрашивает себя, почему они не оставляют его спокойно наслаждаться удовольствиями и почестями его нынешнего положения.

Вскоре после его женитьбы разразилась Крымская война. Россия вела титаническую борьбу с западными державами, и полковник Павловиц был среди тех, кто был призван защищать отечество. Расставание со своей молодой женой было отмечено слезами и рыданиями; но все же он услышал призыв к войне с суровой радостью, ибо, как истинный солдат, он жаждал проявить в реальном бою качества, приобретенные им при обучении теории; а затем он жаждал действия — интенсивного, волнующего действия — чтобы прогнать мрачные, полные укоризны лица, которые мучили его своим постоянным повторением.

Он был одним из командиров, отвечавших за оборону Севастополя. Он участвовал лично и проявил величайшую храбрость во многих отчаянных конфликтах той кровавой кампании. Под Балаклавой он командовал частью артиллерии, которая подверглась всемирно известной атаке Легкой бригады; и именно во время яростного отражения этой атакинеожиданный удар британской сабли оторвал ему правую руку около плеча.

В течение трех месяцев наш герой лежал в госпитале, вызывая всеобщее сочувствие и интерес, поскольку доброжелательность, которая ранее проявлялась к нему, была значительно усилена великолепной храбростью и умением, которые он проявил на войне, и жестоким ранением, которое он получил.

Сам император несколько раз присылал справляться о его состоянии, а визиты и расспросы менее значительных персон были неисчислимы.

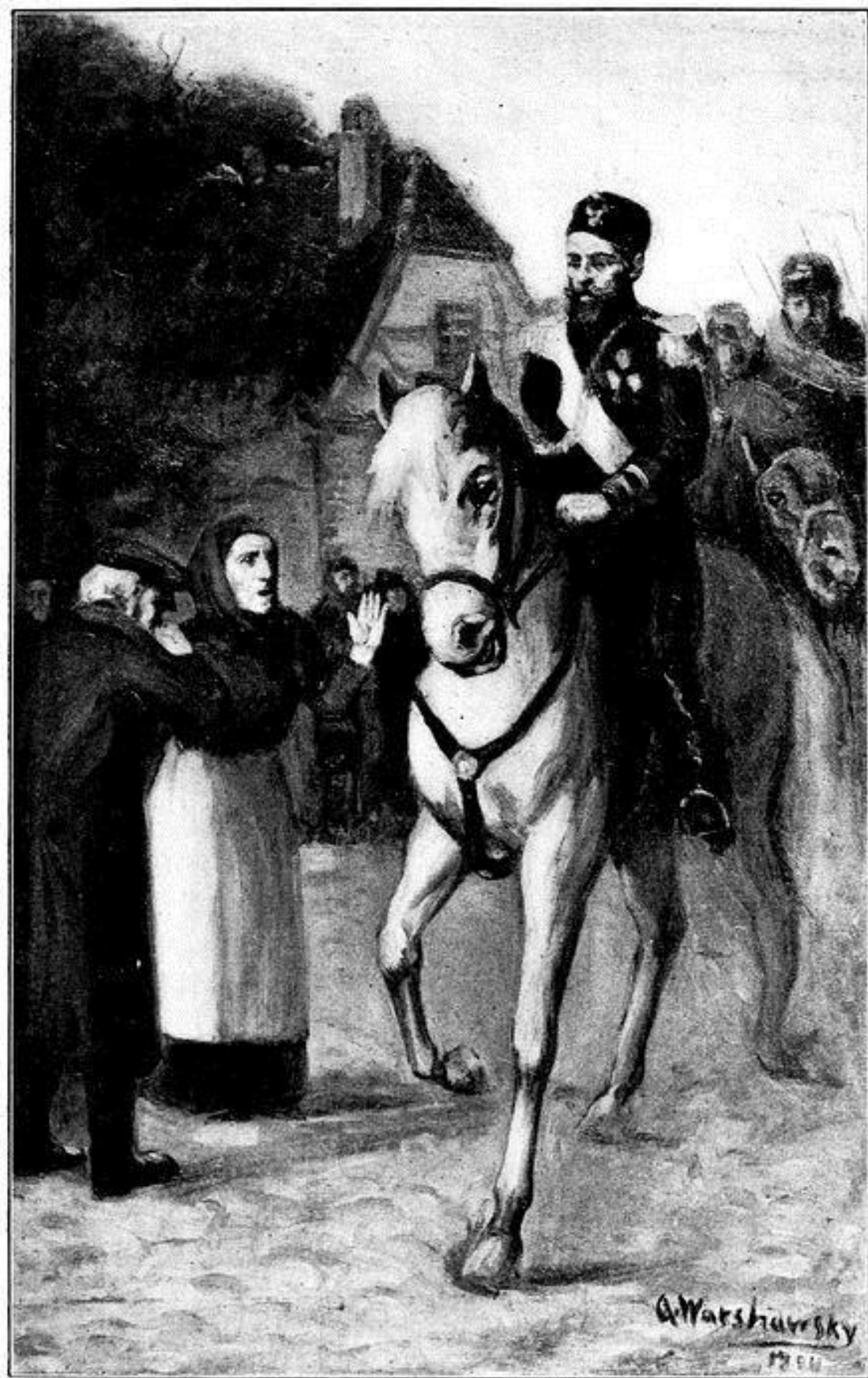
Как только он смог вернуться к своим активным обязанностям, император приказал провести смотр всей армии. Это было сверкающее зрелище, море блестящих мундиров, сверкающих штыков, сабель и пушек, перемежаемых великолепными музыкальными оркестрами, океан глубоко заинтересованных зрителей. Наш герой ехал во главе своего полка на великолепном черном коне, его пустой рукав бесполезно свисал с правого бока. Проходя мимо большой трибуны, где стоял император и его блестящая свита из офицеров и адъютантов, Его Величество приказал параду остановиться. Затем в присутствии армии и сомкнувшейся толпы зрителей император обратился к нему со следующими словами:

“Ген. Сергей Павлович, мой добрый и верный слуга. Я заметил мужество и преданность, с которыми вы служили в моей армии. Я всегда хотел должным образом вознаградить добродетель и верность, и поэтому я назначаю вас командующим ...—й дивизией моей регулярной армии”.

Едва были произнесены эти слова, которые Его Величество произнес громким и ясным голосом, как вся армия, на мгновение нарушив ограничения дисциплины, и огромная толпа зрителей разразились восторженными криками "ура" и снова и снова приветствовали имя Сергея Павловича. Это был великолепный и вдохновляющий момент.

Наш герой вспыхнул от гордости и удовлетворения, но, повинуясь правилам военного этикета, не сказал ни слова, а только отдал честь с глубоким почтением, и секунду спустя прозвучала строгая команда, и войско двинулось дальше.

Словами невозможно описать ликование, которое сейчас наполняло душу генерала Павловича. Он был совершенно опьянен радостью. Все честлюбивые замыслы его жизни казались удовлетворенными, и он с восторгом думал о том восторге, которым известие о его большом продвижении по службе наполнит сердце его любимой Ольги, которая навещала его во время пребывания в больнице, а теперь вернулась в их дом в Курском районе Казани.



Он и не подозревал, что грядут огромные перемены, что вот-вот произойдет событие, которое с непреодолимой силой напомнит события его юности и изменит все течение его военной карьеры. Но так оно и было, и кульминации его военных амбиций также было суждено ознаменовать их внезапный и полный конец.

Парад был распущен. Зрители разошлись, и различные полки маршем возвращались в свои казармы.

В сопровождении только своего штаба и небольшого кавалерийского эскорта генерал Павловиц возвращался в свою штаб-квартиру. Их дорога пролегла по старым улицам города. Когда кавалькада проезжала угол, генерал услышал крик. Он один из всей компании заметил это, но было в этом что-то такое, что взволновало и охладило его и наполнило его тело сильным волнением. Это был жалобный женский крик, и его суть состояла из нескольких часто повторяемых слов на русско-еврейском диалекте: “О, горе мне, мой маленький раввин, мой Саул Исаак! о, горе мне, мой маленький раввин, мой маленький раввин!” Генерал Павловиц услышал крик и понял его слова. Хотя более двадцати лет он слышал и говорил только по-русски, все же эти слова прозвучали для него как далекое эхо его собственного прошлого, понятное, знакомое, милое и невыразимо печальное. Словно вспышка, промелькнули долгие годы русской, христианской и военной подготовки, и он снова увидел себя в счастливых днях своего детства, маленького невинного еврейского мальчика, с гордостью повторяющего свой недельный урок перед кругом восхищенных соседей, в то время как отец и мать сияли от удовлетворения. Затем снова пришло воспоминание о той ужасной ночи, когда его похитили у них, и он снова задрожал от нового ужаса и негодования. Повернув голову, когда его лошадь тронулась рысью, он увидел стоящую на углу пожилую еврейскую пару, смотревшую ему вслед, из их глаз текли слезы, на лицах было выражение сильнейшей муки, женщина причитала и рыдала, как в исступлении. Он сразу узнал их. Это были его отец и мать. Его решение сформировалось мгновенно. Он и его родители должны встретиться. Поспешно вызвав младшего офицера, который, как и он сам, был крещеным евреем, он приказал ему незаметно покинуть строй, вернуться к пожилой паре и сообщить им, что генерал примет их этим вечером в одном из тихих отелей города.

Младший офицер добросовестно выполнил поручение своего начальника, не подозревая, конечно, о его причинах, но с душой, наполненной неопределимой симпатией к его цели, которую он инстинктивно ощущал благородной. Он тихо отстал от отряда и в нескольких торопливо произнесенных словах сообщил пожилой паре о желании генерала, после чего прищепил свою лошадь и быстро присоединился к своим товарищам, никто из которых не заметил его действий.

В тот вечер молодой человек в гражданской одежде осведомился в офисе отеля “Народный”, нет ли в отеле некой еврейской пары, и ему показали номер, где его ожидали родители (это был генерал). Встреча была трогательной, почти трагической по силе эмоций, которые она вызвала. Первым чувством была огромная, всепоглощающая радость. Воссоединившиеся родители и ребенок попеременно плакали и улыбались и обнимали друг друга с пылом, возможным только для тех, чья жажда любви так долго оставалась неудовлетворенной. Особенно Малка Фейге

прижала к груди своего давно потерянного сына в приступе материнской привязанности и очень, очень неохотно выпустила его из своих объятий. Но, наконец, первые мощные всплески эмоций несколько улеглись, и они начали обсуждать свою богатую событиями карьеру и трудности своего нынешнего положения.

Вскоре была рассказана история родителей. Их присутствие в Севастополе было совершенно случайным, или, скорее, как они искренне верили, провидческим. За все эти годы они так и не смогли ничего узнать о судьбе своего мальчика. Они не знали ни места, где его держали в течение первых нескольких лет после похищения, ни чего-либо о его последующем опыте; и все их попытки получить какую-либо информацию оставались совершенно бесплодными, так что в конце концов они отчаялись узнать о нем что-либо еще. За несколько дней до памятного события их воссоединения Израэль получил выгодное деловое предложение, которое требовало его присутствия в Севастополе; и поскольку Малка Фейге не хотела оставаться дома в полном одиночестве, она решила сопровождать его. Они не пошли на смотр, потому что не любили зрелищ и пышности, и совершенно случайно оказались на углу улицы, когда мимо проезжал небольшой отряд кавалеристов с генералом. Окинув компанию небрежным и апатичным взглядом, острые глаза Малки Фейге сразу заметили, несмотря на разницу в возрасте и блестящую униформу, сходство в чертах лидера с чертами ее собственного Саула Исаака, и материнское сердце подсказало ей, что это ее украденный мальчик. Тогда она во внезапном и неудержимом порыве чувств издала крик, который привлек внимание генерала и вызвал собрание.

Затем Саул Исаак рассказал своим родителям историю своего переживания, которая, как хорошо известно моим читателям, не нуждается в повторении. После того, как он закончил, разговор зашел об их будущих отношениях, и все они признали, что это были самые трудные и опасные отношения.

“Ах, дорогой сын, ” сказала Малка Фейге, “ каким будет наше будущее? Я не могу жить без тебя теперь, когда мои глаза увидели тебя живым; но как мы можем собраться вместе, если мы всего лишь скромная еврейская пара, а ты великий полководец, и особенно с тех пор, как ты стал, увы за мои грехи! Христианин? Для нас действительно невозможно жить вместе. Царь никогда бы этого не допустил”.

- Да, - подхватил Израэль, - и подумайте, каким позором было бы для нас, если бы в *Кехилле* стало известно, что мой сын, *Иллуи* и *Хариф*, был *Мешумедом*! Я бы никогда не смог вынести такого позора. Вся твоя слава не стала бы компенсацией.

Это действительно была сложная проблема. Но Саул Исаак уже обдумал этот вопрос во всех его аспектах и с обычной быстротой решения решил, что он будет делать.

“Дорогие родители, - сказал он, “ будьте покойны. Никогда я больше не покину вас. Теперь, когда Бог, Бог моих отцов, свел нас вместе таким чудесным образом, мы больше никогда не будем разлучены. Я останусь с тобой и буду евреем, искренним, верным евреем. Я знаю, что должен отказаться от своего высокого сана, на который меня только что назначил император, и от всех моих надежд на будущее и покинуть эту страну; ибо как еврею для меня были бы закрыты не только все пути, но и как вероотступнику я был бы уверен в суровом наказании и, возможно, даже в смерти. Но какое мне до этого дело! Я никогда не был искренним христианином. Я стал им только потому, что моя сила сопротивления иссякла и, казалось, другой перспективы в

жизни не было. Но теперь, когда я вижу вас снова, мое решение сформировано и остается неизменным. Я люблю вас; Я люблю мой бедный, гонимый народ; Я люблю моего Бога. Я вернусь к тебе и к Нему всем своим сердцем и душой”.

Родители пролили слезы радости, смешанные с горем и опасениями, при этом героическом объявлении.

“А как же твоя жена?” - спросила Малка Фейге. “Ты замужем за человеком, который не исповедует нашу религию, но который принял тебя с добрыми намерениями. По закону ты не можешь оставаться с ней, но честь запрещает тебе оставить ее. Что ты будешь делать?”

“ Я тоже думал об этом, ” ответил Саул Исаак. “Я очень люблю мою Ольгу, но моя вера и мой Бог для меня дороже, чем любовь женщины. Я пойду к Ольге, откровенно расскажу ей обо всех обстоятельствах, которые меня окружают, и попрошу ее принять нашу веру и стать еврейкой. Если она согласится, мы вместе уедем из страны, и все будет хорошо. Если она откажется, я скажу ей, что было бы лучше, если бы мы расстались, ибо истинный, богоугодный брак не может существовать между людьми разных вероисповеданий. Но при любых обстоятельствах я полон решимости отныне быть истинным евреем, жить и умереть как таковой”.

Родители заявили, что удовлетворены таким решением проблемы, и расстались при том понимании, что Израэль и Малка Фейге должны вернуться домой, а Саул Исаак должен держать их в курсе всех своих передвижений.

Первым шагом генерала Павловица после воссоединения со своими родителями было попросить отпуск из армии, чтобы навестить свою жену в Курско-Казанском районе. Это было предоставлено ему без труда, учитывая его заслуги и естественное желание разделить радость своего продвижения по службе со своей женой. Со всеми внешними проявлениями радости, но с сердцем, полным тайных опасений, он отправился в свое путешествие. Он очень опасался за последствия для своей жены известия о том, что он вернулся в иудаизм, и едва ли осмеливался надеяться, что она благосклонно отнесется к его предложению принять веру своего мужа.

Слишком хорошо зная о сильном отвращении, с которым русские, принадлежащие к официальной греческой Церкви, относились к его братьям, и часто имея возможность замечать, с каким презрением произносилось имя “Зид” надменными представителями московского самонения, он остро осознавал, что для его Ольги не могло быть большего потрясения, чем объявление о том, что ее муж был одним из презираемых и ненавидимых евреев. Но ему казалось, что никакой другой путь не согласуется с честью и прямоотой, и он решил не отклоняться от прямого пути исполнения долга.

Часто во время долгого и утомительного путешествия он пытался представить себе ответ, который дала бы Ольга. Иногда он представлял себе, как она заявляет, что вера и народ ее мужа должны принадлежать ей и что с ним она отправится на край света; в другое время он представлял, как она говорит, что вера ее отцов для нее выше всего остального и что она никогда не откажется от нее. Но в своих самых смелых фантазиях он не имел ни малейшего представления о том, как на самом деле будут восприняты его слова.

Он решил сделать свое заявление сразу же по приезде домой, но когда увидел сияющее лицо жены и почувствовал ее теплый поцелуй на своих губах, сердце его упало. Как он мог произнести слова, которые могли огорчить такое красивое и любящее создание. Он позволил

отнести себя в свою великолепную резиденцию и отведал роскошного ужина, который приготовила для него Ольга. Он изображал веселость и с наигранным воодушевлением говорил о войне и своей роли в ней, о своем продвижении по службе и блестящих перспективах на будущее. Он решил сделать свое заявление завтра. Но на следующий день к нему не вернулось мужество, и он не мог говорить. Тот, кто бесстрашно встречал атакующие армии и, не дрогнув, смотрел смерти в глаза, не мог сделать заявление, которое могло бы огорчить женщину, которой он дал свое имя и которая так горячо любила его. Но в тот день он был рассеян и удручен и не мог подавить вздохов, которые время от времени вырывались из его груди.

Ольга не могла не заметить его меланхолии. В тот вечер она решила поговорить с ним о ее причине.

“Сергей, любовь моя,” сказала она, когда вечерний ужин был подан и слуги удалились, а они уютно устроились бок о бок на роскошном диване. - Сергей, любовь моя, тебя что-то беспокоит. Мое женское сердце подсказывает мне, что какое-то тайное горе разъедает твою душу. Ты не скажешь своей Ольге, что это? Ты не позволишь мне разделить твою горе?”

- Ольга, дорогая, - сказал Сергей, глядя на нее встревоженными глазами, в то время как внезапная боль пронзила его сердце. - Ольга, дорогая, как я могу сказать тебе то, что, я знаю, огорчит тебя и навлечет большое горе на ту, кого я люблю и лелею больше, чем себя?

“Скажи мне, - взмолилась она, “ разве я не твоя жена? Разве я не клялась быть спутницей твоих радостей и печалей? Назови мне свое бремя, и каким бы оно ни было, я помогу тебе нести его”.

“Что ж, ” ответил он, “ раз ты настаиваешь, я скажу тебе. Тогда знай, что я еврей. Ваш муж, великий генерал Павлов, всего лишь представитель этой ненавистной расы, один из тех жалких париев, которых одинаково презирают император и народ, — "зид". Разве это не достаточная причина для горя, что высокородная Ольга де Миткевич связана с таким человеком, что он может называть ее женой?”

Ольга посмотрела на него глазами, в которых светился любопытный огонек.

“Что за глупости ты говоришь, Сергей”, - сказала она. “Как ты можешь называть себя евреем? Конечно, я знаю, и когда я протягивал вам руку, я знал, что в ваших жилах течет еврейская кровь; но прошло уже много лет с тех пор, как вы отреклись от греховной ереси иудаизма и были крещены в нашей святой Греческой Церкви в часовне монастыря Святой Софии. Как же тогда ты можешь называть себя евреем, если церковь и наш милостивый император признают тебя таким же добрым христианином, как любой из нас? Отбрось эти глупые мысли, дорогой Сергей, и пусть тебя несколько не беспокоит факт твоего еврейского происхождения; и будь уверен, что это ни в малейшей степени не умаляет моей любви к тебе”.

Сергей с минуту смотрел на жену заплаканными глазами, а затем заговорил прерывающимся от волнения голосом:

“Дорогая Ольга, то, что вы говорите, хорошо сформулировано, но я не могу признать это правильным. Меня крестили против моей воли; мое согласие было неискренним и поверхностным. Какое-то время я мог скрывать свои истинные чувства; сегодня я больше не могу этого делать. Я еврей как по вере, так и по крови. Я снова увидел своих родителей, и вид их возродил все мои прежние чувства, всюдетскую любовь к моей вере. Я больше не буду носить

маску, я буду играть роль христианина. Я твердо решил быть евреем. Я намерен отказаться от всех своих должностей и достоинств и бежать в страну, где я смогу быть свободен жить в соответствии с велениями моей совести как таковой. Моя жена тоже должна быть еврейкой, должна разделять мои убеждения и надежды. Ольга, можешь ли ты пойти со мной; можешь ли ты принять нашу еврейскую веру в единого Бога и Его святой закон; можешь ли ты решить разделить мою судьбу в моем неизвестном будущем доме и быть мне настоящим партнером на всю жизнь и навечно? Если ты сможешь, ты наполнишь мое сердце радостью; но я не призываю тебя идти на жертву. Если ты решишь остаться в своей вере и на своей родной земле, ты будешь иметь право на законный развод. Я бы оставил тебе все свое имущество и пожитки и никогда больше не беспокоил тебя. Говори, Ольга, и сообщи мне о своем решении?”

Закончив, Сергей снова взглянул в лицо жены, желая по его выражению понять, как она восприняла его слова. То, что он увидел, удивило его. Он ожидал увидеть там выражение гнева или недовольства или, в лучшем случае, удивления, неуверенности и колебания.

Вместо этого он увидел прекрасное лицо Ольги, сияющее странной и необъяснимой радостью. Она улыбалась торжествующей улыбкой, почти ликованием; но при этом в ее глазах была серьезность, которая показывала, что в ее радости не было легкомыслия, а что она была основана на каком-то глубоко серьезном чувстве. Пока он смотрел на нее, почти ошеломленный ее неожиданным видом, Ольга заговорила.

“Сергей, ” сказала она, “ ты открыл мне свою тайну. Я открою тебе свою. Ты принадлежишь к запрещенной расе; я тоже, и теперь я действительно твоя сестра по вере. Ты еврейка. Я происхожу от Суботников, тех искренних искателей Бога, которых знаменитый Захария из Тамбова обратил в иудаизм несколько веков назад. Как изучающий русскую историю, вы знаете, что императоры преследовали “иудействующих еретиков”, как называли мой народ, с еще большей жестокостью и упорством, чем ваш. К ним были применены тюремное заключение, лишение гражданских прав и ссылка в отдаленные районы империи, а также еще более суровые наказания.

“При этих обстоятельствах тысячи наших братьев полностью отпали; другие бежали в чужие страны, где открыто исповедовали иудаизм; а другие номинально придерживались греческой церкви, но в своих сердцах тайно лелеяли веру в единого Бога Израиля и старались исполнять Его святой закон, насколько это было возможно в их невежестве и трудных обстоятельствах.

“Моя семья принадлежала к последнему упомянутому классу; но из-за высоких связей, которые у нее образовались, она стала довольно распушенной и оторвалась от общения с братьями. Но, тем не менее, мы никогда не забывали о своем происхождении; и, хотя я боялся сказать вам об этом, думая, что вы стали истинным христианином и не хотели бы, чтобы вам напоминали о вашем прежнем положении, ваше еврейское происхождение действительно было одной из причин, которые завоевали вам мою привязанность, ибо мы, Суботники, очень чтим тех, кто родился в семье Израиля, и считаем брачный союз с ними высокой привилегией.

“Таким образом, ваше заявление о вашем намерении стать евреем вместо того, чтобы вызвать у меня недовольство, доставило мне острейшую радость, радость, которую я никогда не ожидал испытать. Я приму твою веру, дорогой Сергей, не только потому, что хочу угодить тебе как своему мужу, но и потому, что мое сердце уже склоняется к этому с искренней преданностью. Я разделю твою судьбу и твое будущее, какие бы радости или печали они ни

приносили. И подобно древней Руфи я скажу: "Твой народ будет моим народом, а твой Бог - моим Богом. Куда ты пойдешь, туда и я пойду; и где ты умрешь, там и я умру, и там я буду похоронен".

Словами невозможно описать то огромное чувство отвращения, которое столь неожиданные слова Ольги вызвали в груди нашего героя, которого мы отныне будем называть только его еврейским псевдонимом Саул Исаак. Он был перенесен из глубины страданий и мрачных предчувствий на седьмое небо радости благодаря этому столь приятному разрешению трудности, которую он считал почти неразрешимой. Но Ольга тоже была полна радости, и лучезарное веселье, сиявшее в ее прекрасных глазах, показывало, что она считала этот час, означавший для нее начало изгнания и, возможно, нищеты, самым счастливым в своей жизни.

Муж и жена, которых теперь объединила новая и глубокая симпатия, обнялись с пылом любви, которой они раньше не знали, после чего сели писать письмо родителям Саула Исаака. В этом письме Саул Исаак выразил счастье, переполнявшее его сердце, а Ольга написала несколько добрых строк, завершив их словами: "Твоя любящая дочь и верная служанка Авраама".

Теперь счастливая пара тихо готовилась покинуть страну. Постепенно генерал распродал свое имущество и обратил его в наличные. Когда это было сделано, через несколько месяцев генерал и его жена совершенно открыто покинули город своей резиденции под благовидным предлогом совершения короткого зарубежного турне. Их первым пунктом назначения был приграничный город Румыния, куда Израэль и Малка Фейге прибыли раньше них. С этого места Саул Исаак написал военному министру, что отказывается от службы в русской армии и откровенно излагает причины своего поступка. Затем они отправились в Иерусалим, где родители Саула Исаака решили провести свои преклонные годы в благочестивом уединении и служении Богу. В святом городе Ольга была официально принята в общину Израиля, и ей было присвоено имя Сарра.

Здесь они прожили двадцать лет. У них родилось шестеро детей, все они получили превосходное еврейское и светское образование и были воспитаны в трудолюбии, добродетели и страхе Божьем. После смерти родителей, которая произошла на двадцатом году их пребывания в святом городе, Саул, Исаак и Сарра сочли желательным в интересах своих детей эмигрировать в Америку. Соответственно, несколько лет назад они поселились в Нью-Йорке. Саул Исаак и его жена выбрали для своего проживания часть города, населенную в основном русскими единоверцами, поскольку среди них они чувствовали себя как дома.

Саул Исаак находит главное удовольствие в посещении синагоги, и можно спорить о том, что доставляет ему наибольшее удовольствие - проповеди *Маггида* или сплетни и анекдоты, которыми община балуется в перерывах между богослужениями.

Что касается Сары, то она настолько тщательно иудаизирована, настолько пунктуальна и точна в исполнении своих религиозных обязанностей, настолько требовательна к поддержанию *кошерного* характера своего домашнего хозяйства и так бегло говорит на русско-еврейском жаргоне, что в ней никогда не заподозришь ничего, кроме настоящей русской еврейки, уроженки и прирожденной. Их дети выросли красивыми и талантливыми молодыми мужчинами и женщинами, хорошими евреями и хорошими американцами.

Саул, Исаак и Сарра счастливы и удовлетворены. В их сердцах никогда не возникает ни тени сожаления о своем прежнем состоянии. Но часто, когда они совершают богослужение в

синагоге, с их уст спонтанно слетают слова Соломона: “Благословен Господь Бог, давший покой народу Своему Израилью”.

СЛИШКОМ ПОЗДНО, НО ВОВРЕМЯ

Мозес Левински, вздрогнув, проснулся на своей скромной кушетке в маленькой спальне в холле на шестом этаже огромного и переполненного многоквартирного дома на Элдридж-стрит в Нью-Йорке, в котором он жил. Он очень боялся, что сам проспал и опоздает на раннюю утреннюю службу Конгрегации “Сыны мира”. Свет, проникавший через узкое окно его комнаты, был намного ярче того бледного освещения, которое обычно встречало его рано просыпающиеся глаза, и, казалось, свидетельствовал о том, что день клонился к закату. Взгляд на дешевые серебряные часы, лежавшие рядом с брюками на стуле рядом с кроватью, показал ему, что его опасения были вполне обоснованны.

Конгрегация “Сыны мира” неизменно начинала свои богослужения в 6 утра, Мозес Левински имел привычку вставать в половине шестого; на его туалет и прогулку в маленькую комнату для собраний в соседнем квартале требовалось двадцать пять минут, и он регулярно был на своем месте за пять минут до того, как голос *Хазана* или регента, скандировавшего на классическом иврите “Превознесен Бог живой и восхвален”, свидетельствовал о том, что служба поклонения и молебь, которой современный Израиль снабжает древнее жертвоприношение, заменяла ему молитву. началось богослужение. Но сегодня часы, которые обычно показывали около четверти шестого, когда он впервые бросал на них взгляд ранним утром, показывали половину седьмого. Прихожане уже целых полчаса были заняты молитвой, и он едва ли мог надеяться быть с ними до окончания службы, которая обычно длилась чуть меньше часа. Часы - существа упрямые. Они упорствуют в своем мнении, которое ясно читается на их лицах. Их совершенно не волнует, насколько неприятными могут быть их заявления для тех, кто консультируется с ними, и их нельзя ни переубедить, ни вывести из себя. И вот часы Мозеса Левински вовсе не отступили, несмотря на все суровые взгляды, которые этот довольно растерянный человек устремил на них; напротив, продвинулись примерно на минуту вперед, в то время как он, который теперь встал на бок и оперся на левую руку, смотрел на них с озадаченным и печальным выражением лица.

Правда заключалась в том, что Моисей сомневался в том, какой курс избрать. Часы подсказали ему, что сегодня он может сделать исключение из своей обычной практики и остаться дома, поскольку он никогда не мог надеяться вовремя явиться на богослужения или даже присутствовать на какой-либо значительной их части. С другой стороны, его сильно мучила совесть из-за того, что он сам проспал; и, таким образом, он подвергся опасности нарушить свое жизненное правило - всегда начинать день в доме Божьем, и в словах, которые капитан корабля однажды адресовал пророку Ионе, когда тот засыпал посреди всей суматохи шторма, он взывал к нему: “Что с тобой, о спящий? Восстань, воззови к Богу твоему”. После минутного колебания совесть выиграла битву за утешение. Моисей поспешно вскочил со своего ложа, как можно быстрее привел себя в порядок и менее чем через двадцать минут был на пути к маленькой синагоге (“место молитвы” - так неприятно называли его сами верующие) Конгрегации Сынов мира. Пока он находится на пути туда, мы воспользуемся случаем, чтобы

описать его нашим читателям; ибо многие из них, без сомнения, не в состоянии понять, что это за человек, и особенно не в состоянии понять, почему он должен быть так ужасно расстроен простой возможностью отсутствовать на молитве однажды утром, что, я уверен, никогда не нарушило бы душевного спокойствия большинства моих достойных читателей.



Моисей Левински был самым обычным и незначительным человеком, мимо которого вы могли бы тысячу раз пройти на улице и никогда не обратить никакого внимания. Он был всего лишь заурядным разносчиком, который бродил с утра до вечера по улицам огромного мегаполиса с подвешенной перед ним огромной корзиной, до отказа набитой разнообразными товарами — подтяжками, шнурками для обуви, булавками, иголками, скотчем, носовыми платками, чулками и всем прочим, — и старался побудить своих ближних покупать в его магазине столько, чтобы обеспечить ему скудные средства к существованию. У него были прямые и правильные черты лица, довольно красивого семитского типа, хотя и изможденные и изборожденные морщинами, не столько из—за лет - ему было всего сорок три, — сколько из-за забот и тревог; его волосы и большая борода неправильной формы были черными, сильно тронутыми сединой, а одежда и облегающая шляпа-дерби были явно поношенными. В целом, он не был внушительной фигурой; и если мы добавим к невпечатляемости его внешности тот факт, что у него были нервные, осуждающие манеры, и он смотрел вокруг робкими, опасливыми глазами, а также то, что он был очень безразличен к местному наречию, на котором он говорил неуверенно и с ярко выраженным славяно-еврейским акцентом, читатель сразу поймет, что он принадлежал к тому типу людей, на которых любят карикатурно изображать низкопробных комиков, а уличные мальчишки - издеваться, если не обращаться с ними хуже.

Но его внешний вид не был показателем его внутренних характеристик, за исключением тех, кто привык читать и понимать подобные внешние проявления. Под невзрачной внешней внешностью скрывались острый интеллект и благородная душа, которые вполне могли бы заслужить восхищение проницательных людей. Он получил хорошее образование в своем роде в юности в своем русском доме. Он был основательно обучен ивриту, прочитал всю Библию в оригинале и был хорошо знаком с Талмудом и современной еврейской литературой, из которых он почерпнул правильные представления о мире и развитии современной науки. Но он не смог использовать свое образование ни на родине, ни в Америке. В России он хотел стать раввином, для чего его ученость и искренняя религиозная склонность вполне подходили ему; но все должности, о которых он знал, были заняты, и поэтому после нескольких лет тщетного ожидания он поцеловал на прощание жену и двух своих малышей (он рано женился, еще будучи студентом *Йешибы*) и отплыл в Америку, где, как он думал, бесчисленные общины были готовы приветствовать его как своего духовного главу. Но беглый взгляд на условия, окружающие раввина среди его братьев-иммигрантов под западными небесами, излечил его от желания сделать это своим призванием. Поскольку у него не было ни капитала, ни достаточного светского образования, которое позволило бы ему стать торговцем или обеспечить себе прибыльную коммерческую должность, у него был только выбор между двумя способами добывания средств к существованию. Он мог бы стать рабочим в парилке или разносчиком. Он выбрал последнее и к моменту начала этой истории около десяти лет занимался ремеслом странствующего торговца, занятием, в котором мало выгоды и еще меньше славы. Все эти годы он позволял себе только одну форму удовольствия - посещение Дома Божьего. В театре его не знали, в салунах его видели только по делам; но в синагоге он был постоянным посетителем, никогда не пропускавшим ни утренних служб, ни вечерних собраний, на которых раввин разъяснял Талмуд и комментарии к нему группе внимательных “учеников”.

Помимо его природного благочестия, для него постепенно стало предметом гордости регулярное и пунктуальное посещение синагоги, и поэтому он почувствовал себя изрядно огорченным, когда утром, о котором мы рассказываем, обнаружил, что, должно быть, либо отсутствует, либо опоздал на службу. По дороге в молитвенный дом он пытался утешить себя смутной надеждой, что, возможно, его часы спешат и на самом деле не так поздно, как они показывали. Но его надеждам суждено было разбиться. Когда он вошел в маленькую синагогу, скорбящие как раз повторяли последний *кадиш*, а большинство других верующих сворачивали и убирали свои *Таллитот* и *Тефиллин*, готовясь отправиться на дневную работу.

Бедный Мозес! Острая боль пронзила его сердце при мысли о том, что он, чья пунктуальность и рвение вошли в поговорку, проявил такую преступную небрежность, что появился *вшколе*, когда служба практически закончилась, и еще более острая боль пронзила его, когда он заметил выражение изумления, с которым на него смотрели его товарищи и однополчане. Они также не ограничились изумленными взглядами; но, покончив со своими молитвами, они дали волю своему изумлению в вопросах. “В чем дело, Левинский?” его спрашивали со всех сторон. “Тебе нехорошо, или ты становишься ленивым, или ты переходишь на *связь*?” На все эти расспросы Мозес ничего не отвечал; более того, он чувствовал себя морально слишком подавленным, чтобы защищать или даже заглаживать свой недостаток. Мрачно он надел свой молитвенный платок и филактерии и с гораздо меньшим рвением, чем обычно, прочел утреннюю молитву. К тому времени, как он закончил свои молитвы, все остальные ушли, кроме *Шаммаса*, который, вынужденный остаться по должности, с нетерпением ждал, когда запрут синагогу, и который был сильно обижен на Моисея за то, что тот заставил его потерять так много своего драгоценного времени, которое можно было бы потратить на оплату счета или организацию *Шиддука*. Моисей вяло вышел из комнаты и направился на улицу, но не настолько вяло, чтобы не почувствовать испепеляющий взгляд упрека, который *Шаммас* бросил ему вслед, когда он уходил.

Улица была заполнена людьми и суетилась в разгар начавшейся бурной деятельности, но Мозес не обращал на это внимания. Он даже не заметил дружеских приветствий нескольких знакомых, мимо которых проходил по пути домой. В тот момент в его голове было место только для одной мысли - об огорчении из-за своего необъяснимого опоздания и унижения, которое это утро принесло ему в глазах собратьев-прихожан. Он добрался до огромного многоквартирного дома, который называл своим домом, и начал механически подниматься по узкой и бесконечной лестнице, которая вела в его комнату. В здании было сравнительно тихо. Большинство заключенных мужского пола и детей школьного возраста уже ушли: первые отправились по своим повседневным делам, вторые - в огромную государственную школу, расположенную в нескольких кварталах отсюда. Никто не встретил его на лестнице, чтобы отвлечь от мрачной абстракции. Но, поднявшись на пятый этаж, он заметил нечто, что сразу привлекло его внимание и обратило его мысли к вещам вне его. Это был сильный и резкий запах, запах дыма. Он остановился, все его чувства сразу обострились. Как и все обитатели многоквартирных домов, он хорошо понимал значение дыма. Это означало пожар, а пожар слишком часто означал смерть в этих высоких и переполненных зданиях, с верхних этажей которых спастись всегда было трудно, а иногда и невозможно. Как только он встал, шум беспокойного движения в комнатах по ту сторону холла, где он находился, и внезапный гул голосов внутри возвестили о том, что их обитатели тоже почувствовали запах дыма и были охвачены внезапным страхом. Двери были распахнуты; из них выглядывали белые, встревоженные лица испуганных женщин, за которыми следовали удивленные маленькие дети.

Внизу, в холле, слышался топот ног, и дрожащие голоса закричали «Пожар! пожар!» К этому времени (прошел лишь очень короткий промежуток времени) Мозес Левински определил направление, откуда исходил дым. Он доносился с шестого этажа и был уже довольно плотным на верхней площадке лестницы. Пока Левински вглядывался, ему показалось, что он слышит детские голоса, слабо плачущие, словно наполовину сдавленные.

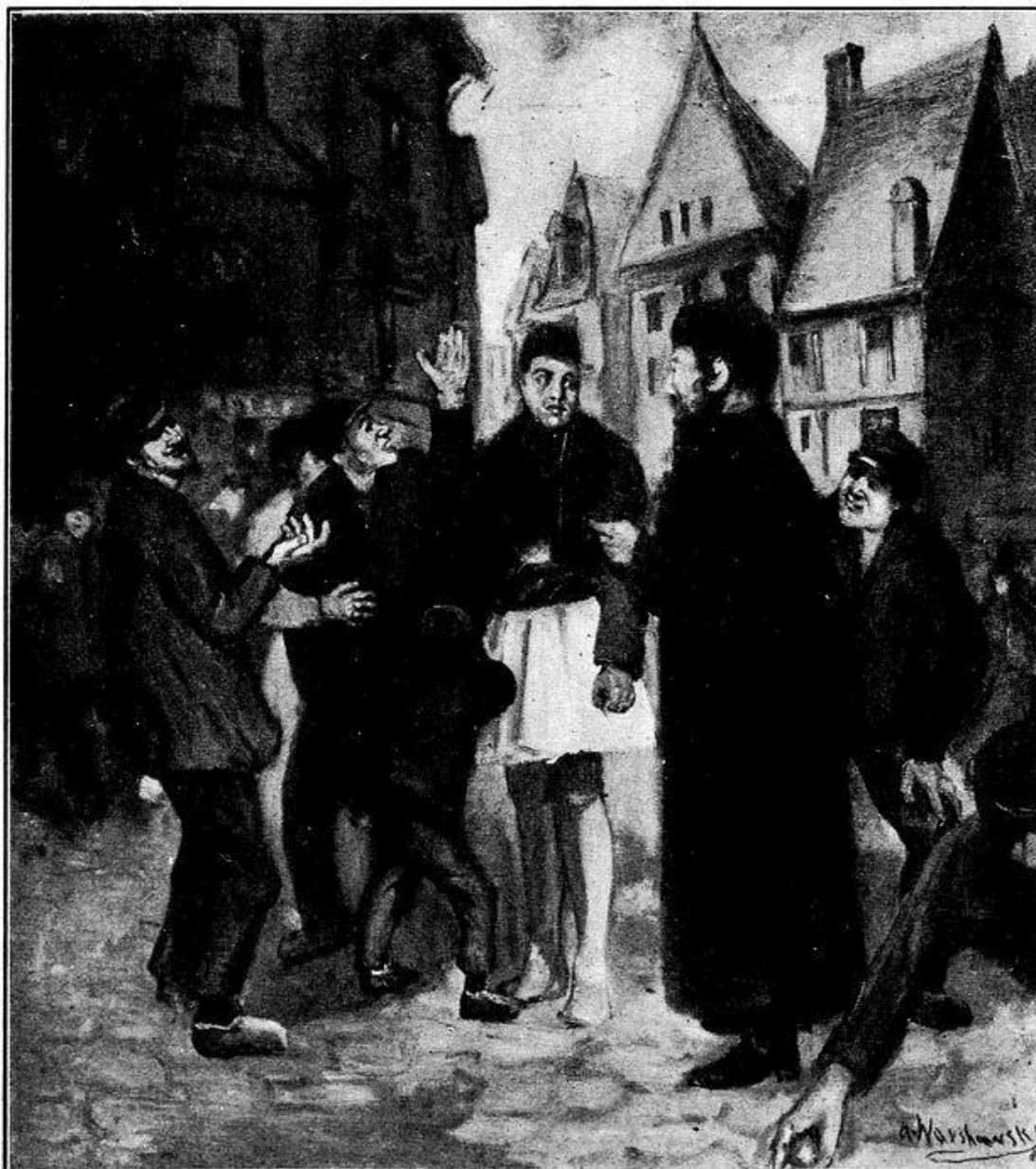
Что ему делать? На мгновение ему показалось, что он бросится вниз по лестнице на улицу и включит пожарную сигнализацию на следующем углу. Но он мгновенно понял, что в данном случае необходимы более быстрые действия, что человеческие жизни, возможно, жизни детей, находятся в неминуемой опасности, и что он должен что-то сделать сам, чтобы спасти их, оставив другим задачу по уведомлению пожарной службы. Несколькими быстрыми прыжками он оказался на следующей площадке, преодолевая три ступеньки при каждом прыжке. Пожар, очевидно, произошел в квартирах по левую сторону холла, где жили Шапирос со своими тремя детьми, поскольку из задней двери валил густой дым, а изнутри доносились слабые причитания детей. Комнаты по другую сторону холла, которые занимали Арновичи, молодая супружеская пара, были тихими и, очевидно, пустыми. Одним рывком Левинский оказался у двери, через щели которой выходил дым, и попытался открыть ее. Она была закрыта и сопротивлялась его усилиям. Он отчаянно пнул ее. Она не поддавалась. Тем временем дым валил все более плотными облаками, причиняя боль его глазам и легким, а голоса детей становились все слабее. С безумным остервенением Мозес Левински навалился всем телом на дверь; она затряслась, но не поддалась. Он снова попытался пнуть ее, изо всех сил ударив правой ногой в тонком ботинке по двери, совершенно не обращая внимания на боль и возможные травмы для себя. Тщетно. Дверь была крепкой и накрепко заперта, в то время как Левински был всего лишь безразличным образцом развитой мускулатуры (все его занятия спортом относились к интеллектуальной разновидности), и все его попытки взломать ее были безрезультатны. Прошло уже несколько драгоценных минут, и Левински был почти в отчаянии. Он колебался, что делать, и почти готов был броситься вниз в поисках дополнительной помощи, когда его глаза, бесцельно блуждавшие по коридору, случайно наткнулись на свет в противоположном углу, и о чудо! там стоял топор. Это был топор, которым Шапиро привык колоть дрова во дворе. Обычно он держал его у себя в комнате, но в то утро по счастливой случайности оставил в холле. Моисей Левински мгновенно схватил его. Несколькими сильными ударами, нанесенными изо всех сил в дверь, он выбил ее, и ворвался в задымленную комнату. В углу он смутно различил три маленькие фигурки. Двое цеплялись друг за друга, а один лежал распростертый на полу. Это были Сара и Айки, пятилетняя и трехлетняя дочь и сын, а также маленький Джози, полуторагодовалый младенец семьи Шапирос. Те, что постарше, все еще были в сознании, но крошка Джози была одурманена дымом и упала на пол. Посреди комнаты стояла большая семейная кровать, постельное белье яростно горело и испускало густые клубы черного дыма. Первая мысль Левински была о детях. Подняв и придерживая потерявшего сознание ребенка правой рукой, а левой взяв за руки каждого из других детей, он выбежал из комнаты.

К этому времени весь дом и все соседи были подняты по тревоге. Когда он поспешил вниз по лестнице, пытаясь найти место, где потерявший сознание ребенок мог бы подышать свежим воздухом, к нему бросилась толпа соседей; среди них несколько пожарных с переносным огнетушителем и врач. Задача Мозеса Левински была выполнена. Пожарные приступили к систематической работы с огнем, который теперь стал достаточно большим, чтобы угрожать всему дому. Врач взял на себя заботу о потерявшем сознание младенце и через несколько минут привел его в себя. Но кто тот, чьи предсмертные крики слышны сейчас, и кто мчится

сквозь плотную толпу, отчаянно крича: “Дети мои! О дети мои!” Это мать, миссис Шапиро, которая вышла на рынок вместе со своей соседкой, миссис Арновиц, и, как принято в этой местности, заперла своих детей в комнате до своего возвращения. Когда она увидела, что ее дети живы и здоровы, она неистово целовала и обнимала их и прижала к своей груди, как будто наполовину сомневалась в свидетельстве своих чувств. Затем она спросила, кто был их отважным спасителем; и когда все указали на Моисея Левинского, она упала перед ним на колени, поцеловала ему руки и назвала его *Малахом* Божьим, посланным прямо с небес, чтобы спасти ее близких. Но Мозес Левински вовсе не зазнался и не воспринял похвалу в свой адрес. Его лицо озарилось блеском интеллекта, удовлетворением от решенной проблемы. Все, что он сказал, было: “Теперь я вижу, что Бог добр и Его планы мудры. Из-за него я опоздал в *школу*, чтобы успеть спасти этих бедных *Нефошос*. Я опоздал на одну *мицву*, но как раз вовремя для другой, и это вполне соответствует *Галахе*; ибо разве Талмуд не говорит нам: ”Тот, кто должен выполнить одну *мицву*, освобождается от другой”?”

ПРОЗЕЛИТ ПРАВЕДНОСТИ.

Около пятидесяти лет назад группа уличных зевак и случайных прохожих стояла на углу одной из узких и старомодных улочек недалеко от старой гавани Марселя, забавляясь тяжелым положением невысокого смуглого мужчины, который стоял среди них и, очевидно, был иностранцем и чужестранцем в этом городе. Это был типичный день раннего лета в одном из самых оживленных мест мегаполиса южной Франции. Солнце светило с блеском, характерным для данного региона и времени года, и было немного слишком тепло для комфорта; и улицы были запружены пестрой толпой, частично состоящей из французов, среди которых уроженцев северной Франции и провансальцев или жителей юга можно было легко отличить друг от друга по разнообразию их типов, а частично из представителей различных рас и национальностей, различающихся по оттенку кожи - от оливково-смуглых испанцев, итальянцев и греков до кофейно-смуглых арабов и мавров из северной Африки, причем здесь были и другие. и там, среди толпы, негр эбеновой черноты.



ГРУППА УЛИЧНЫХ ЗЕВАК ЗАБАВЛЯЛАСЬ ТЯЖЕЛЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ НЕВЫСОКОГО СМУГЛОГО МУЖЧИНЫ, СТОЯВШЕГО Среди НИХ

Страница [142](#)

Большое скопление людей на улицах было отчасти связано с обычной деятельностью города; но больше с тем фактом, что три больших парусных судна, которые в те дни, предшествовавшие паровой навигации, осуществляли грузовые и пассажирские перевозки между левантийскими портами, в то утро выгрузили свой человеческий груз на трех главных причалах по соседству, и поток освобожденных пассажиров тек по прилегающим улицам, прежде чем смешаться с общим людским потоком города. Среди вновь прибывших было много странных личностей, но все они чувствовали себя как дома в своем новом окружении. Некоторые из них, возможно, бывали в Марселе ранее, а других встречали родственники или друзья, которые провожали их до места назначения. Таким образом, в этом незнакомом городе обо всех позаботились, кроме

одного, и это был тот самый несчастный человек, которого мы видели стоящим на углу улицы среди кучки уличных *гейменов* и бездельников. Они подшучивали над ним, комментируя его диковинную внешность и задавая всевозможные шуточные вопросы на вульгарном *арго*, на котором они говорили; но он ничего не понимал и только беспомощно переводил взгляд с одного несимпатичного лица на другое, лишь изредка произнося каким-то ошеломленным то одному, то другому на том, что им казалось невразумительной тарабарщиной, таинственные слова: “*Иегуди Амта? Иегуди Амта?*” Каждое подобное высказывание было бы встречено взрывом смеха; то есть всеми, кроме одного.

Бенджамин Далински, еврейский разносчик, чья колыбель стояла на берегах Днепра, но которого судьба занесла в страну галлов и который зарабатывал на жизнь странствующим торговцем в южной французской столице, случайно проходил мимо места, где разыгрывались эти сцены, и остановился на мгновение, чтобы выяснить причину волнения. Незнакомец заметил вошедшего и обратился к нему с вопросом, который он так часто бесплодно повторял: “*Иегуди Амта? Иегуди Амта?*”

Дрожь пробежала по всему телу Бенджамина Далински. Он понял мистические слова. Он услышал в них отголосок голосов своего детства и духа своего дома, по которому ему так грустно было скучать в этой странной, нееврейской Франции. Он чувствовал в них стремление еврейской души к общению с братом по вере, сочувствию и привязанности. Его душа воспылала внезапным влечением к этому темнокожему незнакомцу, которого он никогда раньше не видел; и на том же древнем языке, иврите, на котором незнакомец задал свой вопрос, он ответил: “*Ани Иегуди бо имми ачи*”.

Великая, всепоглощающая радость осветила смуглое лицо незнакомца. Со смешанным чувством любви и почтения он низко поклонился и поцеловал подол пальто Далински, который быстро вывел его из гущи толпы; и изумленные французские зеваки расступились, когда эта странно подобранная пара, светловолосый сын Севера и смуглый азиат, удалились вместе. Квартира Далинского находилась совсем недалеко — он снимал комнату у еврейской пары, которая зарабатывала на свои скудные заработки той небольшой суммой, которую он им платил, и туда он быстро привел незнакомца. После того, как он дал последнему возможность умыться и что-нибудь съесть, что тот сделал с жадностью, убедившись в ритуальной чистоте блюда, поскольку на корабле он почти ничего не пробовал из пищи язычников, он спросил незнакомца, что привело его в эту неведомую страну, язык и нравы которой были ему одинаково незнакомы. На классическом иврите, на котором он говорил с совершенной беглостью, с большим воодушевлением и живостью, незнакомец рассказал следующую историю:

“Я еврей; и гордость и слава моей жизни в том, что я принадлежу к вере, впервые провозглашенной Авраамом, и чьи священные законы и таинства я стараюсь добросовестно выполнять; но я не уроженец дома Израиля. Там я всего лишь приемный ребенок, хотя, я надеюсь, моя любовь к народу, который теперь принадлежит мне, от этого не становится менее теплой и искренней. По происхождению я грек. Я родился на прекрасном острове Корфу, жемчужине архипелага, где выращивают самые лучшие и отборные *этрогимы*, наиболее подходящие из всех видов для торжественных церемоний Праздника Кущей; и имя, на которое я был крещен, было Дмитрий Аристархи. Сегодня я известен в Израиле как Авраам Герц-Цедек. Способ, которым я пришел искать вступления в собрание Господа, был в высшей степени необычным; и мое заявление может показаться вам мало заслуживающим доверия, но я

торжественно заверяю вас, что это правда. Это произошло следующим образом. Моя семья была старинной и выдающейся на острове, но мой отец из-за неудач в различных деловых предприятиях и ряда других несчастий потерял все свое состояние, когда мне было около пятнадцати лет, и вскоре после этого умер. Моя бедная мать, потрясенная двойной потерей своего горячо любимого мужа и всего своего земного достояния, ненадолго пережила своего спутника жизни, но в течение нескольких коротких недель последовала за ним в могилу. Таким образом, я был полностью предоставлен самому себе; и поскольку я был единственным ребенком в семье, без брата или сестры, и не обучался ни ремеслу, ни профессии, воспитанный в роскоши и беззаботности, обычной в моей стране в состоятельных семьях, мое положение было действительно отчаянным. Мне ничего не оставалось делать, кроме как искать должность домашней прислуги, в которой не требуется особых навыков и где трудолюбие и добрая воля могут послужить местом обучения. Это была самая унижительная необходимость, которая вызвала много слез из моих глаз. Я, избалованное дитя богатства, должна добывать хлеб насущный в качестве прислуги! Но альтернативы не было; и, как говорится, "Необходимость нельзя ни восхвалять, ни порицать".

“Так случилось, что я нашел работу в доме врача-еврея по имени Моисей Аллатини. Он был человеком весьма выдающимся, красивым и утонченной внешности, чрезвычайно искусным в своей профессии, но также сведущим в древнееврейских знаниях. Его жена, по имени Эсперанса, была ослепительно красива, той задумчивой красотой, которая отличает многих дочерей Израиля, и столь же добросердечной и набожной, сколь и красивой. Их семья состояла из семерых детей, все хорошо воспитанные, вежливые и привлекательные. Когда я появился в доме, там был младенец, милый двухлетний мальчик с вьющимися черными локонами, обрамлявшими лицо алебастровой белизны, и глазами, в жидкой черной глубине которых читалась бесконечность чувств. Поскольку я ни на что другое не годился, Рафаэль, так звали младшего, был поручен моим заботам, чему я очень обрадовался, потому что влюбился в милое дитя, когда впервые увидел эти глаза на его ангельском личике. Я посвятил себя его заботам с величайшим рвением. Я мыла, купала и одевала его, ежедневно выводила на свежий воздух, кормила его и каждую ночь укладывала в его маленькую кроватку, когда он закрывал свои прекрасные глаза во сне. Я выучила маленькие еврейские молитвы, которые еврейские дети повторяют, когда ложатся отдохнуть ночью или когда встают утром, и благословения, которые они произносят по разным поводам, чтобы я могла продиктовать их ему и чтобы никто не встал между мной и моим нежно любимым подопечным. Рафаэль ответил взаимностью на мою привязанность; без сомнения, потому, что он почувствовал ее искренность, и мы стали неразлучны. По мере того как он становился старше, наша любовь друг к другу не уменьшалась; напротив, она возрастала, становилась глубже и интенсивнее. После своих родителей Рафаэль больше всего любил своего Дмитрия; а что касается меня, то у меня не было никого в целом мире, о ком я нуждалась бы в заботе, и я сосредоточила на нем всю силу любви своего от природы теплого и нежного сердца. Я продолжал исключительно опекать Рафаэля, участвовал во всех его спортивных состязаниях и играх и сопровождал его всякий раз, когда он выходил из дома. Действительно, он всегда настаивал, чтобы я была его компаньонкой, и отказывался куда-либо идти, если меня не будет с ним. Наша великая любовь друг к другу стала общеизвестной и вызвала большой интерес, особенно среди жителей Иврита — греки были не очень довольны, — и семью Аллатини все поздравляли с приобретением такого верного и преданного слуги. Когда Рафаэлю исполнилось четыре года, родители начали водить его в синагогу по праздникам и субботам особой важности; и поскольку он настоял на том, чтобы я сопровождал

его, просьба, которая вызвала большое веселье среди семьи и других, кто узнал об этом, я был одним из участников этих мероприятий. Так я впервые познакомился с древнееврейским богослужением в том виде, в каком оно совершается в Еврейском Доме Божьем. На меня произвело глубокое впечатление мелодичное пение *Хазана*, к которому время от времени гармонично присоединялась паства, и я с большим интересом слушал ученые и благочестивые речи достопочтенного раввина. Но в то время у меня и в мыслях не было присоединяться к Израилю; а что касается аллатини и других евреев, то они никогда даже не мечтали о таком.

“Когда Рафаэлю исполнилось пять лет, доктор Аллатини объявил, что настало время обучить его языку иврит и начать приобщать к знанию Библии и раввинских писаний. Но теперь возникла новая и неожиданная трудность. Рафаэль упорно настаивал, чтобы я тоже брал уроки, и заявил, что он ничему не научится, если я не буду его товарищем по учебе. Это было немного чересчур для его добрых родителей. Они пытались втолковать ему, что абсурдно заставлять нееврея изучать древнееврейский язык и религиозную литературу; и мне тоже это казалось крайне сомнительным; но он ничего не хотел слышать из их доводов и с безрассудным упрямством детства настаивал на том, что я должен участвовать в обучении. “Дмитрий все делает сомной, - сказал он, - и он тоже должен учиться у меня. Если Дмитрий не хочет учиться, Рафаэль тоже не будет учиться’. С этим ничего нельзя было поделать. Его юношеский ум был сосредоточен на идее, что я должен быть его товарищем в учебе, как и во всем остальном; и его родители, видя, что изменить его точку зрения невозможно, уступили, наполовину забавляясь, наполовину досадуя, его желанию. Так я стал изучающим Святой Закон; и я благословляю Бога за тот час, когда Он отделил меня от тех, кто пребывает в заблуждении, и приблизил меня к Нему, позволив мне познакомиться с Его Торой и познать мудрость и святость Его учения. Был нанят учитель, самый способный знаток иврита в городе, и он начал обучать, по его словам, самую странную пару учеников, которые у него когда-либо были: восемнадцатилетнего грека-язычника и пятилетнего еврейского юношу. Мы оба усердно учились.

“Теперь, когда я начал, мне не терпелось узнать все, что только можно, из древнееврейских знаний; и Рафаэль, довольный тем, что его желание было удовлетворено, и обладающий ярким и острым интеллектом, учился быстро и хорошо. Мы начали с еврейского алфавита и зачатков священного языка; но вскоре мы освоили эти элементарные разделы и приступили к чтению Священных Писаний, сначала по простому тексту, а затем с комментариями различных ученых раввинов. Я не могу найти слов, чтобы описать глубокое впечатление, которое произвел на меня этот курс обучения. То, что поначалу было простым добродушным исполнением детской прихоти, впоследствии превратилось в самое увлекательное и поглощающее занятие, самую важную часть моей интеллектуальной и духовной жизни. Сначала я был очарован еврейским языком как средством выражения мыслей, с его произношением, одновременно звучным и мелодичным, с его симметричным и гармоничным грамматическим построением, с его краткими и в то же время богато выразительными фразами и предложениями; затем возвышенность и величие библейского учения взволновали и тронули меня. Я удивлялся божественной мудрости творения; я восхищался великими и героическими лидерами, вдохновленными Богом пророками и учителями, которые распространяли знания о вселенском Учителе среди людей; я начал понимать, почему Израиль существовал на земле; я с глубочайшим интересом следил за пестрой историей избранного народа; я торжествовал вместе с Соломоном, когда на высоте Сиона был освящен святой дом, и я плакал и скорбел вместе с Иеремией, когда он обратился в руины. Мудрость Торы произвела на меня глубокое впечатление, ее многочисленные уставы и таинства, все предназначенные для достижения

одной цели - счастья и благополучия человечества, ясно раскрыли моему разуму невыразимую доброту Автора всего, и вместе с Давидом я воскликнул: "Закон Господень совершенен, восстанавливая душу". Одним словом, дух Всесвятого вошел в меня, и я понял так, как никогда не понимал раньше, и как миллионы не понимают сегодня, что Он желает счастья человечеству; и чтобы способствовать этому счастью и распространять всеобщее благословение, Он избрал Тору и Моисея, Своего слугу, и Израиль, Свой народ.

“Так текли годы, принося нам обоим все больше знаний и счастья, потому что мы с Рафаэлем были похожи на двух братьев, объединенных любовью, какую редко познают братья. Когда мы закончили чтение Библии, на что у нас ушло около пяти лет, мы приступили к изучению *Мишны*. Здесь я нашел новые предметы для восхищения: остроту и глубокую ученость *хакамим*, их методичный порядок и систему, а также их суровое благочестие и непреклонную преданность принципам. За два года мы завершили *Мишну* и приступили к сложным обсуждениям *Гемары*. Но теперь Рафаэлю шел тринадцатый год, по истечении которого, как вы хорошо знаете, каждый еврейский мальчик проходит *Бар-мицву*, то есть достигает религиозного совершеннолетия и несет полную ответственность за все свои поступки перед Богом и людьми. День *Бар-мицвы* повсеместно в Израиле считается самым благоприятным и радостным событием. К молодому священнослужителю относятся с особым почетом, ему разрешается читать *Седрах* и *Хафтару*, и даже произносить речь в синагоге, и он становится получателем богатых подарков и особого внимания. Поскольку эти церемонии требуют специального изучения и подготовки, необходимо обучать молодежь за некоторое время до наступления счастливого дня. Так было и в случае с Рафаэлем. Учитель, наставлявший нас обоих, временно приостановил обычный курс обучения, в котором я принимал участие, и сосредоточил свои усилия на обучении Рафаэля правильному методу повторения отрывков из закона и пророков, которые должны были быть прочитаны в великую субботу *Бар-мицвы*, а также помог ему в подготовке ученой и глубокой речи, которую он, хотя и был всего лишь юношей, должен был произнести по этому благоприятному случаю.

Поскольку эти вопросы меня не касались, я поневоле остался вне поля зрения и теперь не принимал никакого участия в исследованиях Рафаэля, за исключением роли простого случайного слушателя и наблюдателя. Впервые более чем за семь лет мы с Рафаэлем были разлучены, больше не занимались вместе учебой и вообще не проводили много времени вместе, поскольку подготовка к *Бар-мицве* поглощала большую часть его времени, и он не находил досуга для наших обычных прогулок и удовольствий. Эта перемена глубоко опечалила меня. Теперь я осознал, как не осознавал раньше, разницу между нами; что он был одним из избранных людей, историю и религию которых мы изучали, в то время как я был аутсайдером, незнакомцем, не удостоенным чести ни вступить в тесную связь с братьями по ковенанту, ни разделить их самые сокровенные заботы, их истинные радости и глубочайшие печали. Я не могу описать вам меланхолию, наполнившую мою душу при этой мысли; но она, должно быть, отразилась на моем лице или поведении, потому что Рафаэль заметил это и с истинно братским сочувствием попытался успокоить меня. Но его благонамеренные усилия были напрасны. Ничто не могло унять острую боль, поднимавшуюся в моей душе всякий раз, когда я размышлял о том, что между мной и человеком, которого я любил больше всего, существует невидимая, но, тем не менее, реальная и неоспоримая разделяющая стена, стена, которая, вероятно, с годами будет становиться все толще и прочнее, пока, наконец, не разлучит нас окончательно, за исключением, возможно, того, что касается поверхностных отношений простой формальной дружбы.

Месяцами эта тупая боль терзала мое сердце, пока однажды, когда день *Бар-мицвы* был уже недалек, ко мне не пришла, совершенно неожиданно и внезапная, как вспышка молнии, мысль, которая обещала искупление. 'Почему я должен позволять этой стене расти между мной и моим возлюбленным?' Я спросил себя. "Почему я не могу стать братом Рафаэля по завету Израиля?" Израиль - святая нация Бога, но он ревниво не ограничивает свое членство теми, кто родился в пастве. Его ворота с радостью открываются, чтобы приветствовать тех, кто ищет входа из-за истинного единства чувств с наследственными хранителями завета. Как говорит Исайя: "Пусть пришелец, который присоединяется к Господу, не говорит: "истинно, Господь отделит меня от Своего народа". Я тоже могу присоединиться к Израилю, могу разделить бремя и привилегии Святого народа и взять на себя их имя".

"Так моя любовь к дорогому еврейскому парню подсказала мне переехать в Израиль; но, тем не менее, я не решалась на этот шаг, пока не исследовала свой разум и свою душу, чтобы убедиться, готова ли я к этим великим переменам. Я знал, что становиться прозелитом только из каких-либо личных побуждений, какими бы высокими или идеальными они ни были, было грехом. Но мой самоанализ научил меня моим истинным убеждениям, показал мне, что духовно, если не формально, я уже принадлежал Израилю. Я осознал, что теологические догмы, которым меня учили в детстве, больше не обладали ни очарованием, ни значимостью для моей души, которая в течение семи лет пила большими глотками живительную воду из источников закона и традиции Израиля. Я увидел, что в Израиле был духовный дом, где желала пребывать моя душа. Ободренный и вдохновленный этим признанием, я пошел к раввину и сообщил ему о своем желании войти в лоно Израиля. Сначала он был удивлен и несколько недоволен; но когда я рассказал ему свою историю и сообщил, что хорошо разбираюсь в древнееврейских знаниях и знаком с предписаниями иудаизма, он заявил, что не может отказаться принять меня как новообращенного.

Теперь я изложил ему идею, которая возникла у меня в связи с моим принятием в иудаизм, которая ему очень понравилась и которую он сразу же одобрил. Сославшись на то, что мне нужен отпуск, который был с готовностью предоставлен, поскольку Рафаэль был занят своими приготовлениями и в моих услугах на самом деле не нуждался, я добился отпуска на несколько недель от семьи Аллатини. Я поехал в маленький городок, расположенный в нескольких милях отсюда, и там в присутствии раввина и десяти братьев-евреев я был обрезан, и мне было присвоено имя, которое я теперь ношу в Израиле. Я оставался там до тех пор, пока полностью не поправился и не вернулся в дом Аллатини. Никто не знал о произошедшей перемене, поскольку я по своим собственным причинам попросил присутствующих на церемонии пока ничего не разглашать; и мои пожелания были уважены. Все заметили, что я утратила меланхоличный вид, который носила в течение нескольких месяцев, и выглядела довольной и счастливой; но никто не знал причины улучшения моего внешнего вида.

"Наконец настал великий день, суббота Бар-мицвы. Синагога была битком набита, поскольку интерес к событию, которое так близко касалось самой выдающейся семьи в общине и ее горячо любимого сына, был всеобщим. На главном этаже были собраны самые благородные и лучшие мужчины общины, а с галерей лучезарно сияли матроны и девы Израиля, облаченные в великолепные одежды. Когда настало время чтения Торы, Рафаэль взошел на *Тебах*, или алтарь, и сразу же начал петь из священного свитка. Он был воплощением юношеской красоты, когда стоял там; и его голос, чистый и звонкий, как у самой сладкой из певчих птиц, наполнял синагогу мелодичным звучанием, когда он произносил торжественные фразы Священного Писания. Гул

восхищения пробежал по синагоге; и все взгляды, после того как они с удовольствием насладились прекрасной фигурой юной прихожанки, обратились с молчаливыми поздравлениями к счастливому отцу и радостной матери, которые своими сияющими лицами показали, какая радость живет в их сердцах. Рафаэль был вызван в качестве третьего лица, чтобы произнести благословение над законом, что он и сделал с большим достоинством благочестия. Затем его отец взойшел на алтарь и сделал щедрые подношения на благо прихожан; а раввин, покинув свое место и взойдя на алтарь, возложил руки на склоненную голову Рафаэля и произнес над ним троекратное священническое благословение. До сих пор все шло обычным в таких случаях образом, но теперь произошло отклонение. Вместо того чтобы позвать следующего человека к Торе, что было бы обычным делом, раввин повернулся к людям и обратился к ним так:

“Братья Израиля! Теперь нам выпала честь стать свидетелями принятия в полноправные члены ковенанта нашего любимого юного друга Рафаэля Аллатини, которому и уважаемым родителям которого мы приносим наши искренние наилучшие пожелания. Теперь мы с удовольствием увидим еще одну Бар-мицву, ту, которая является истинно верующей в нашу святую веру и которая на протяжении многих лет была другом и товарищем нашего юного юбиляра и не желает разлучаться с ним в этот счастливый день”.

“Все были поражены загадочными словами раввина, потому что никто не слышал о другой Бар-мицве, а факт моего обращения держался в строжайшем секрете. *Хазан*, однако, был посвящен в тайну и громким голосом провозгласил: ‘Пусть восстанет Авраам, сын Авраама, прозелит праведности, чтобы читать Тору. Да защитит его скала’.

“Глубокое изумление царило в синагоге, когда я, взрослый мужчина двадцати пяти лет, которого все знали как слугу-грека Дмитрия, встал на свое место и взойшел на Тебах в образе, обычно присущем только еврейским юношам тринадцати лет; и в затаившем дыхании молчании они слушали, как я произносил благословение над Торой и читал свою часть с правильным акцентом и мелодией. Когда я закончил, я благословил Господа громким голосом; и в соответствии со словами благословения: “Благословен Ты, о Господь, Бог наш, Царь вселенной, который позволил мне жить и достичь этого дня”, - и все собрание воскликнуло: “Аминь!” Затем раввин благословил меня со слезами на глазах, а Рафаэль бросился мне на шею и обнял с лучезарной улыбкой, потому что для него мой поступок значил больше всего. Остальная часть службы прошла в обычной тихой и торжественной манере, но когда завершилось последнее песнопение, поднялось всеобщее волнение. Огромная паства столпилась вокруг семьи Аллатини, Рафаэля и меня, горячо поздравляя нас с замечательным и благоприятным событием, которое только что произошло. Я пользовался почти такой же долей народного одобрения, как Рафаэль, и моя верность семье, которой я служил, и религии, которую я принял, моя преданность моему молодому учителю и мои достижения в знании иврита вызывали большое восхищение и высокую оценку. О, это был славный день в моей жизни; и, как бы долго Всевышний ни позволил мне оставаться на земле, я никогда его не забуду. Аллатини тоже, когда прошел первый шок от неожиданности, отнеслись ко мне с величайшей любовью и добротой. Со мной обращались во всех отношениях как с равным Рафаэлю и товарищем. Я сидел рядом с ним за праздничной доской во время великолепного банкета, устроенного в тот же день в честь этого события. После того, как он произнес свою речь, меня тоже попросили выступить перед гостями, среди которых были самые уважаемые люди в общине; и раввин в своих замечаниях упомянул меня в самых добрых выражениях, высоко оценив мою верность и благочестие, а

также приобретенные мною знания и сравнив меня с Шемайей и Абталионом, выдающимися прозелитами, которые стали главами Синедриона в период второго Храма.

“После окончания празднования Бар-мицвы Рафаэль снова продолжил прерванный курс обучения, и я снова была его спутницей. Я была очень, очень счастлива. Я чувствовал, что вошел в гавань мира и радости благодаря благословенному изучению святого закона Божьего и добровольному исполнению его предписаний, наслаждаясь также любовью моего молодого учителя, добротой его семьи и уважением всех моих недавно обретенных братьев-евреев. Я не желал ничего лучшего на земле, хотя и надеялся, что со временем смогу попросить какую-нибудь знатную девушку из Израиля стать моей спутницей жизни и устроиться достойной *Баал Ха-байт*. Но, увы! пока я грелся в лучах яркого солнца счастья, сгущались черные тучи, которым суждено было покрыть чернильной пеленой ясное небо моего благополучия.

“Романтические эпизоды моего обращения и публичного приема меня в качестве Бар-мицвы вызвали большой общественный интерес среди еврейских жителей острова в целом, и о них говорили повсюду. Таким образом, эти факты стали известны и греческим язычникам и вызвали их глубокий гнев и негодование. Как ни велика была вражда, которую они питали к детям Иакова, они с еще большей ненавистью ненавидели того из их собственной среды, кто связал свою судьбу с древним народом. Вскоре я заметил, что ко мне относятся очень недоброжелательно. Когда я выходила на улицу во время своих обычных прогулок с Рафаэлем, я заметила, что мужчины и женщины смотрели на меня мрачными, хмурыми взглядами, в то время как дети, не сдерживая свой язык, кричали мне вслед: ‘Отступница, ренегатка, предательница!’ Это открытие, хотя и было, конечно, неприятным, не смутило ни меня, ни моих друзей. Уже много лет не было никакого восстания против евреев, и никто из нас не думал, что я обладаю достаточной значимостью, чтобы быть удостоенным особого восстания исключительно из-за меня. Вскоре, однако, поползли слухи, что низшие слои населения, подстрекаемые яростными агитаторами, в частности фанатичным священником израйона, планировали нападение на дом Аллатини с целью схватить меня и понести заслуженное наказание — то есть смерть — за то, что им было угодно назвать моим отступничеством. Это сообщение действительно вызвало у нас некоторое беспокойство, но мы все, в особенности доктор Аллатини, сочли его пустой выдумкой и не приняли никаких мер предосторожности, чтобы предотвратить любое возможное бедствие.

“Несколько ночей спустя удар обрушился. Наш дом был погружен в тишину и темноту, все удалились отдыхать, когда вскоре после полуночи раздался сильный стук в массивные ворота высокой каменной стены, окружавшей сад, в котором стояла резиденция Аллатини. Мы все были разбужены шумом и, поспешив к окнам, увидели на дороге за воротами огромную разъяренную толпу с лицами, полными ненависти, и несущую в руках, помимо оружия, горящие факелы, которые бросали зловещий свет на всю сцену. Как только они увидели испуганные лица в окнах (меня среди них не было, потому что, сразу поняв, что шум относится ко мне, я держался на заднем плане), они с ужасными криками потребовали, чтобы меня доставили к ним. ‘Отдайте нам отступника’, - кричали они. “Мы не желаем зла вам, прирожденным евреям, но мы хотим кровопредателя; и если вы не выдадите его нам, мы разрушим дом и убьем вас всех”.

“Наши люди провели поспешное совещание. Я не буду задерживать вас всеми подробностями нашего спора, но достигнутым результатом было то, что меня можно было спасти. доктор Аллатини поспешно простился со мной, а затем вышел на переговоры с толпой. Я поспешно

оделся и собрал несколько необходимых вещей. Мне в руки сунули кошелек с деньгами. Я обняла и поцеловала моего любимого Рафаэля и попрощалась со всеми, затем вошла в подземный переход, который вел на соседнюю улицу. Когда я вышел на соседнюю улицу, крики и шум толпы стихли, и я понял, что доктору Аллатини удалось их утихомирить. Впоследствии я узнал, что он заверил их, что меня нет в доме, и дал им разрешение войти в него и поискать меня. Рано утром следующего дня я благополучно добрался до гавани и сел на первый же отплывающий корабль, который случайно направлялся в Марсель.

“С душой, наполненной смешанными чувствами печали и благодарности, я покинул свою родную землю, сожалея о том, что должен покинуть своего нежно любимого человека, спутника моей юности и ранней зрелости, и с благодарностью Богу Израиля, который спас меня от рук моих врагов и от морских опасностей и в безопасности доставил меня в новый дом. И я также благодарю Его за то, что в этой незнакомой стране Он привел меня к брату, который показал себя обладающим истинно братской, еврейской любовью и добротой. И я не сомневаюсь, что Тот, кто прокладывает путь в свирепых водах и кто защитил Своего слугу Давида от вражеского меча, позаботится обо мне, Своем смиренном поклоннике, в этой чужой стране и дарует мне Свой мир и благословение. Слова Авраама окончены”.

Когда незнакомец закончил свой рассказ, Бенджамин Далински, который с изумлением слушал это странное повествование, сказал ему: “Действительно, твой рассказ странен и интересен; но не думаешь ли ты, что поступил глупо? Если бы ты остался в вере своих предков, ты не потерял бы дружбы твоих еврейских благодетелей и не вызвал бы ненависти твоих соседей-язычников. Ты мог бы спокойно жить на своей родной земле и, возможно, впоследствии стал бы великим человеком среди своего народа; тогда как сейчас ты изгнанник и беглец, и кто знает, каков будет твой удел здесь, на этой земле?”

Авраам некоторое время смотрел на него, словно не понимая его слов, а затем ответил негодованием, как человек, отвергающий греховное и недостойное предложение. “Я бы предпочел есть хлеб с солью и пить чистую воду как *иегуди*, чем быть принцем и великим человеком среди язычников”.

“Ах, - сказал Далински, - ты действительно прозелит праведности”.

АЙЗЕК И ЭЛИС

Они были хорошими и верными друзьями, эти Айзек и Элис. Конечно, они были не совсем такой парой, которую большинство людей сочло бы хорошо подобранной или естественно родственной; ибо Исаак был крупным рослым парнем лет тридцати, говорившим на идиш гораздо лучше, чем на английском, в то время как Алиса была милой маленькой девочкой лет пяти, в чьем детском лепете отчетливо слышался янки, и чья колыбель стояла за много тысяч миль от того места, где детские глаза Исаака впервые открылись на странный и беспокойный мир. И все же то, что они были близкими друзьями, было неоспоримым, хотя и несколько необъяснимым фактом. Люди, которые видели крепкого молодого литовского плотника-еврея с темными локонами и бородой цвета воронова крыла и золотоволосую и голубоглазую маленькую восточную девушку, когда они сидели вместе и беседовали в полдень, когда Исаак

ел свой скромный обед, или когда они прогуливались рука об руку по улицам маленького массачусетского городка, часто улыбались, удивлялись и отпускали замечания, иногда шуточные, иногда саркастические друг другу; но ни Исааку, ни Элис было все равно, что кто-то говорит. Они не боялись скандала и были безразличны к общественному мнению. Они были просто хорошими друзьями, и все. Они были хорошими друзьями с первого момента встречи, через несколько недель после того, как Исаак ступил на гостеприимный берег Америки, и израсходовали большую часть своей физической энергии, почти все свои финансовые ресурсы и запас мужества и надежды в попытке убедить свободную страну и дом храбрых обеспечить его средствами к существованию. Он зашел в порт Нью-Йорка и около недели пытался найти работу по своему ремеслу в метрополии. Но в то время в большом городе, должно быть, было множество плотников, потому что куда бы он ни обращался, ответ был один и тот же: “Никто не нуждался”. Тогда он решил попробовать свои силы в небольших городках, и бродил пешком по Коннектикуту, и обращался в сотни магазинов во многих промышленных поселках этого штата, с каждым разом становясь все более слабым и обескураженным; и никогда не слышал никакого другого ответа на свою просьбу о работе, кроме все того же монотонного припева, который теперь стал ужасным в своем намеке на отчаяние: “Никому не нужен”.

Наконец он, сам не зная как, добрался до Массачусетса и въехал в маленький городок Этбери. Надежда почти покинула его, и мрачные мысли о самоубийстве наполняли его разум, пока он бесцельно бродил по аккуратным и ухоженным улицам города. Во время своих блужданий он увидел деревянное здание, на фасаде которого большая вывеска гласила, что внутри находится столярная мастерская и что владельца зовут Томас Джонс. Айзек машинально вошел в большую открытую дверь, отправляясь на свои обычные поиски. Он не рассчитывал на успех, и когда мистер Джонс, красивый мужчина средних лет, с типичной внешностью янки, очень резкий и немногословный, дал обычный ответ на его робкий вопрос, он повернулся, чтобы уйти, с упавшим сердцем, в котором тупая боль была ненамного острее, чем раньше.

Но на этот раз произошел беспрецедентный инцидент. Хорошенькая маленькая светловолосая голубоглазая девочка, совсем кроха, стояла рядом с владельцем, когда незнакомец вошел в магазин, и она смотрела на его красивое, хотя и измученное заботами лицо, пока он жалостливо призывал к работе, с выражением явной симпатии, смешанной с сочувствием и жалостью. Когда он повернулся, чтобы уйти, удивление и печаль ясно отразились на лице девочки; и, повернувшись к своему отцу — как ты, без сомнения, уже догадался, любезный читатель, это была Алиса, единственное и горячо любимое дитя Томаса Джонса, — она сказала: “Папа, неужели ты не собираешься дать бедняге работу? Только посмотри, каким грустным он выглядит. Не отпускай его”.

“Ты хочешь, чтобы я оставил его себе, малышка?” - спросил отец, глядя на умоляющее личико своей маленькой дочери с веселой родительской нежностью.

“Да, хочу, папа”, - сказала Алиса. “Я думаю, что он очень хороший человек, и я хочу, чтобы ты оставил его себе”.

“Что ж, - сказал Томас Джонс, - ради вас я дам ему шанс”.



Исаак еще не успел выйти из мастерской, как громкий голос мастера-плотника сразу же вернул его обратно. Он быстро продемонстрировал свои способности в своем ремесле и был принят на работу, а его работодатель внушил ему, что именно заступничество маленькой девочки дало ему такую возможность. Исаак низко склонился перед девочкой с благоговейной благодарностью и запечатлел на ее крошечной ручке благодарственный поцелуй. Так началась их дружба, и она стала действительно очень теплой и искренней. Алиса, естественно, прониклась симпатией к широкоплечему молодому иностранцу приятным лицом; и Исаак, который был не только глубоко благодарен ребенку за то, что тот привел почти потерпевший кораблекрушение корабль его жизни в безопасную гавань работы и хлеба, но и был очень общительным и компанейским по характеру, делал все, что в его силах, чтобы развлечь своего юного благодетеля. Им не разрешалось встречаться в рабочее время, поскольку отец Джонс, хотя и был любящим и снисходительным родителем, был строгим и бескомпромиссным надсмотрщиком и не потерпел бы, чтобы его отвлекали от дел в течение времени, отведенного для работы; но во время полуденного перерыва на обед, когда Алиса искала Айзека в любой части города, где ему случалось работать после окончания работы, ближе к вечеру, когда Айзек возвращался в дом своего хозяина, где был его дом, они обязательно были вместе и могли резвиться и “вести себя” сколько душе угодно. Ничто не доставляло им большего удовольствия, чем поездка верхом, когда Айзек выступал в роли вспылчивого, хотя и удивительно послушного скакуна, а Элис ехала на своем скакуне в большей безопасности, чем самая опытная наездница. Исаак скакал рысью и галопом, переступал с ноги на ногу, бил лапой, гарцевал и фыркал, ржал и ржал, как тот самый боевой конь Иова, все время держа своего маленького всадника твердой и любящей хваткой; в то время как Алиса, с развевающимися локонами и сверкающими глазами, кричала “Гы-гы!” и “Вау!”, дергала его за волосы вместо поводьев и колотила по плечам своими крошечными кулачками, согласно самым общепринятым правилам искусства верховой езды. Было также множество других форм развлечения. Иногда они играли в “жмурки”, когда Айзек начинал игру с того, что позволял туго завязать себе глаза, а затем ощупью бродил по комнате в попытке поймать Алису. Но так или иначе, он всегда был очень неуклюж в этой игре; и Алисе никогда не составляло ни малейшего труда уклоняться от его бесцельных прикосновений, и она получала огромное удовольствие, проскальзывая туда и обратно прямо у него перед носом и прикасаясь к нему со всех сторон. И когда, наконец, его рука, по-видимому, случайно, опускалась на Алису и захватывала ее, и наступала ее очередь подчиняться перевязке и пытаться схватить его, он казался еще более неуклюжим в своих движениях. Казалось, он никогда не знал, как ускользнуть от “слепца”, но постоянно вставал у него на пути; и самое большее через две-три минуты крошечные ручки Алисы схватят его в свои крепкие объятия, и ее пронзительный крик триумфа возвестит, что он пленник. Он также научил Алису нескольким странным русским играм, которые были источником нескончаемого изумления изабава (примерно поровну) для всех мальчиков и девочек по соседству. Иногда, в праздничные дни или когда на работе случался перерыв, они вместе отправлялись собирать ягоды и возвращались домой с полными банками ежевики, или черники, или ежевики, или малины, или каких-то других сортов ягод, которые росли по обочинам дорог или в полях, Алиса выглядела очень счастливой, а Айзек довольно уставшим и с исцарапанными руками; ни для кого не было секретом, что в то время как Алисе доставалось больше всего удовольствия,

Айзеку доставалось больше всего хлопот, и он изо всех сил старался наполнить банку самыми спелыми и отборными ягодами. Это можно было бы найти, так что экспедиция должна была принести должные плоды. Этими и сотней других способов Исаак старался угодить маленькой дочери своего работодателя, и его усилия увенчались большим успехом, настолько успешным, что ребенок стал смотреть на него с теплой привязанностью и никогда не был так счастлив, как в его обществе.

Элис была не единственной, кто относился к Айзеку с любовью. Ее родители были почти столь же теплы в своих чувствах. Томас Джонс был высокого мнения о нем, потому что он был доскональным мастером своего дела, чрезвычайно сильным, абсолютно верным и надежным. Любая порученная ему задача, какой бы трудной она ни была, всегда выполнялась со скрупулезной точностью и добросовестностью, и ни одна жалоба или возражение никогда не срывались с его губ. миссис Джонс любила его за трезвость, вежливость и опрятность в своих привычках, а также за то, что он так старался угодить и развлечь ее маленькую дочь. Конечно, в нем были некоторые черты, которые им не очень нравились, но его многочисленные хорошие качества уравнивали эти недостатки. Одним из таких моментов было то, что он не работал в субботу или по еврейским праздникам. Эта трудность возникла в первую же неделю его работы, но высокий характер его работы побудил мистера Джонса тогда нанять его, и впоследствии он привык обходиться без услуг Исаака по субботам или в любой другой день, когда, по его словам, правила его религии требуют воздержания от труда. Еще один момент, который показался мистеру и миссис Джонс очень странным, заключался в том, что, хотя Исаак жил с ними, он никогда не ел мяса ни в каком виде и отказывался от многих других блюд, которые появлялись на их столе. Но поскольку Джонсы были добросердечными и терпимыми людьми и, кроме того, испытывали искреннюю симпатию к Исааку, они не обращали внимания на эти вопросы, а если и размышляли о них вообще, то просто считали их естественным следствием его религиозных взглядов.

У Джонсов было много споров с некоторыми из их соседей из-за Исаака и особого положения, которое он занимал в их доме. Фанатизм и ограниченность взглядов не чужды даже в свободной Америке, где, теоретически, раса и религия человека не должны оказывать никакого влияния, благоприятного или неблагоприятного, на мнение, которого придерживаются о нем, и где, если где-либо и должен преобладать принцип, провозглашенный раввинами в Талмуде: “Твои дела будут рекомендовать тебя, твои дела осудят тебя”. Некоторые из добрых христиан Этбери, которые считали, подобно Санчо Пансе, что самой существенной чертой христианина является искренняя ненависть к евреям, не могли скрыть своего изумления: нет, их праведное негодование из—за того, что еврей должен быть любимым членом христианской семьи и, что еще хуже, верным другом и компаньоном маленькой христианской девушки.

“Как вы можете позволять неверующему жить в вашем доме?” - говорили они, изо всех сил демонстрируя священный ужас. “А ты не боишься, что со временем он может благовидными рассуждениями совратить тебя или твою маленькую дочь от истинной веры и ввести вас в заблуждение иудаизма? Но Джонсы только посмеялись бы над этими благочестивыми опасениями и ответили, что Исаак никогда не говорил с ними на религиозные темы; что, хотя он, несомненно, был по-своему искренне религиозен, он никогда не навязывал свои взгляды другим; и что, на самом деле, было бы неплохо, если бы некоторые люди, которых они знали, подражали ему в этом.

Затем соседи попытались бы пойти другим путем, в котором они надеялись добиться большего успеха. “Как вы можете доверять Алису такому человеку?” - спросили бы они с торжественным видом тех, кто предостерегает друзей от надвигающейся опасности, которой они опрометчиво подвергаются. “А ты не боишься, что он может причинить ей какой-нибудь вред? Никогда нельзя предугадать, что может натворить такой еврей. Ведь в некоторых частях Европы их даже обвиняют в убийстве христианских детей, чтобы использовать их кровь для празднования Пасхи. Оставлять Элис на его попечении небезопасно.

Но когда они выступили с этим аргументом, то получили достойный ответ, в котором не было недостатка ни в четкости, ни в акцентированности. Джонсы, особенно миссис Джонс, сказали им, что у них могло бы быть дело поважнее, чем клеветать на человека, о котором они не знали ничего дурного; что Айзек был самым добрым, добросердечным, преданнейшим человеком в мире; что он был глубоко благодарен Элис, потому что она спасла его от голодной смерти, а что касается того, что ей грозила опасность от его рук, то почему они, Джонсы, были убеждены, что он в любой момент был бы готов скорее отдать свою жизнь, чем допустить, чтобы хоть волос упал с ее головы.

Раньше, чем кто-либо ожидал, представилась возможность, которая продемонстрировала, что Исаак действительно был готов отдать свою жизнь, чтобы спасти своего маленького друга от беды. Через несколько дней после необычайно жарких дебатов, подобных описанным выше, между Томасом Джонсом и особенно ревностным соседом, который предупредил работодателя Айзека, что, если позволить этой нечестивой дружбе продолжаться, непременно произойдут всевозможные ужасные вещи, Джонс вызвал Айзека к себе. “Иди сюда, еврей!” - сказал он наполовину в шутку, наполовину сердито, потому что воспоминание о немилосердных словах своего назойливого соседа все еще было сильно в нем. “Я хочу показать вам, что я о вас думаю.” Айзек сразу же подошел и с почтительным видом стал ждать дальнейших слов своего работодателя. “У меня есть работа на окраине города,” продолжал Джонс, с удовлетворением глядя на мускулистую фигуру и покорное отношение своего самого надежного работника. - и, поскольку я не могу выделить людей для другой работы, я собираюсь передать все дело в ваши руки. На участке Прентиса есть небольшой коттедж, который нужно поднять домкратом, чтобы освободить место для каменщиков для строительства нового фундамента, а затем все работы по сборке досок и плотницкие работы в целом должны быть отремонтированы и подогнаны. Я уже отправил все необходимые дрова, так что ты можешь идти прямо наверх и заняться всей работой в одиночку. Когда ты доберешься туда, ты сам увидишь, что нужно делать, а если ты ничего не поймешь, почему, просто спроси старину Прентиса, и он скажет тебе, что делать”.

Айзек взял свой ящик с инструментами и уже собирался уходить, когда маленькая Алиса, которая слушала слова своего отца, подпрыгнула и, положив руку на плечо Айзека, нетерпеливо спросила: “Айзек, ты не возьмешь меня с собой?” Я хочу быть с тобой, когда ты будешь выполнять свою работу”.

“Спроси своего папу, Алиса”, - сказал Айзек, приятно улыбаясь своей маленькой подруге. “Если он отпустит тебя, тогда я буду рад взять тебя с собой”.

Алисе не нужно было спрашивать отца, потому что последний, не дав ей возможности заговорить, сразу же дал ей желаемое разрешение. “Да, действительно, ты можешь пойти с Исааком”, - сказал он с гораздо большим акцентом, чем, по-видимому, было необходимо. “Я просто покажу этим моим тупоголовым фанатичным соседям, что я думаю об их фанатичных

подозрениях и инсинуациях. Просто бегивперед, малышка, и я желаю тебе получить массу удовольствия, увидев Айзека за работой.

Таким образом, должным образом получив разрешение, Айзек и Алиса вместе отправились к месту его одинокой работы, до которого они добрались примерно через полчаса. Прентис-плейс представлял собой небольшую ферму площадью в два или три акра, в центре которой стоял коттедж. Это было не очень большое сооружение, но наметанный глаз Исаака сразу понял, что его работодатель поставил перед ним задачу, достаточную для того, чтобы испытать силы трех человек. Старик Прентис придерживался того же мнения и очень решительно выразил свое недовольство тем, что Джонс послал только одного человека выполнять работу за троих. Однако, ничуть не смутившись, Айзек сразу же приступил к выполнению своей задачи. Первое, что нужно было сделать, это поднять конструкцию, что было сделано с помощью приспособлений, называемых домкратами. Айзек вставил по одному домкрату под каждый из четырех углов дома и закручивал их до тех пор, пока эта часть здания не была поднята на желаемую высоту. Тем временем Алиса стояла рядом со своим любимцем и наблюдала, как он выполняет свою трудную работу, все время болтая и лепеча с беззаботной невинностью детства; а Исаак, хотя и был поглощен своим трудом, не преминул ответить на ее детские вопросы и заинтересовать своего маленького друга и позабавить. Все шло хорошо, пока Айзек не дошел до четвертого и последнего поворота и не начал поднимать его, как делал это в предыдущих. Здесь, по какому-то просчету, он поднял угол примерно на фут выше, чем было необходимо. В тот же миг каркасная конструкция начала крениться. Исаак мгновенно понял, что здание непременно рухнет на землю, и острая боль пронзила его сердце, когда он подумал о потерях, к которым приведет его ошибка, необъяснимая даже для него самого. Его следующей мыслью было спастись от беды; но когда он повернулся, чтобы убежать из-под падающей конструкции, какое ужасное зрелище предстало его глазам! Маленькая Алиса, окаменевшая, очевидно, от страха, неподвижно стояла под шатающимся зданием. Перед его мысленной сетчаткой мгновенно вспыхнула отвратительная картина ее маленького тела, лежащего раздавленным и истекающего кровью под развалинами здания, жизнь в котором была раздавлена непосильным весом. Как он мог спасти ее? Она была слишком далеко, чтобы он мог схватить ее и убежать с ней в безопасное место, и не имело смысла кричать ей, чтобы она бежала. Прежде чем она смогла бы восстановить контроль над своими способностями и заставить свои конечности двигаться, удар обрушился бы, и все было бы кончено. Был только один способ спасти Алису, и, хотя Айзек знал, что это означало почти верную смерть для него самого, он немедленно решил это сделать. Подставив свои мощные плечи под накренившуюся деревянную раму, он громким и ужасным голосом крикнул Алисе, чтобы она бежала — бежала, спасая свою жизнь. Минуту или около того он стоял, подобно легендарному Атласу, поддерживающему мир, поддерживая своей огромной силой падающую конструкцию, в то время как его мышцы вздувались, как веревки, а по всему телу струился пот агонии. В эту минуту Алиса пришла в себя и заковыляла прочь от греха подальше. Секундой позже тяжелая рама лишила мужчину сил и повалила его на землю с тошнотворным глухим стуком, в то время как резкий треск балок и досок, сорванных с креплений, смешался с его ужасным криком. Ему не пришлось долго лежать там. Бедная маленькая Алиса, обладавшая интеллектом не по годам, побежала искать помощи у соседей; но в ее бешеных усилиях не было необходимости. Страшный грохот падающего здания и яростный, полный агонии вопль пораженной жертвы разбудили всю округу, и со всех сторон быстро прибыла помощь. Объединенные усилия старика Прентиса и ряд рабочих, поспешила из соседней области быстро преуспел в удалении

массы балок и плит, а барахлишко из дерева оттела Исаака, и нежно они положили его на временное дивана образуется своего пальто. Он был раздавлен, искалечен и окровавлен, все конечности сломаны, а черты его лица изуродованы почти до неузнаваемости, но он был в сознании, и счастливая улыбка заиграла на его лице, когда он увидел, что Алиса избежала всех травм и была цела и невредима.

“ Иди ко мне, маленькая, дорогая, ” сказал он едва слышно, с тоской глядя на подругу детства, за которую он отдал свою жизнь. - Иди и попрощайся со мной, потому что я чувствую, что должен идти. Я не жалуюсь, потому что Бог призывает меня уйти, но я рад, что твоя юная жизнь сохранена, чтобы быть радостью для тебя и твоих дорогих родителей на долгие годы вперед ”. И его юная подруга со странно серьезным лицом подошла к своему умирающему защитнику, пожала ему руку и поцеловала его окровавленные и искаженные черты, и назвала его своим дорогим Исааком, и умоляла его не умирать, в то время как сильные мужчины, стоявшие вокруг, склонили головы в благоговейной скорби и молча плакали. Затем они отнесли его домой, и родители Алисы, когда услышали историю о том, что он сделал, не знали, каких чувств в их сердцах было больше — благодарности за то, что их дорогая дочь была в безопасности, или восхищения чистой и самоотверженной дружбой, которую Исаак так героически проявил, и скорби по поводу его безвременной кончины. Он снова впал в полубессознательное состояние и несколько часов молча лежал на своей кушетке. Затем он беспокойно пошевелился и слабо поманил своего хозяина, показывая, что хочет ему что-то сообщить. Томас Джонс, который не выходил из комнаты с тех пор, как Исаака впервые принесли домой, сразу же подошел к кровати и, приложив ухо ко рту умирающего, услышал, как тот сказал слабым голосом: “Дорогой хозяин, пообещай мне одно одолжение. Я умру евреем. Похороните меня среди моего народа”.

И Томас Джонс ответил: “Айзек, я обещаю”.

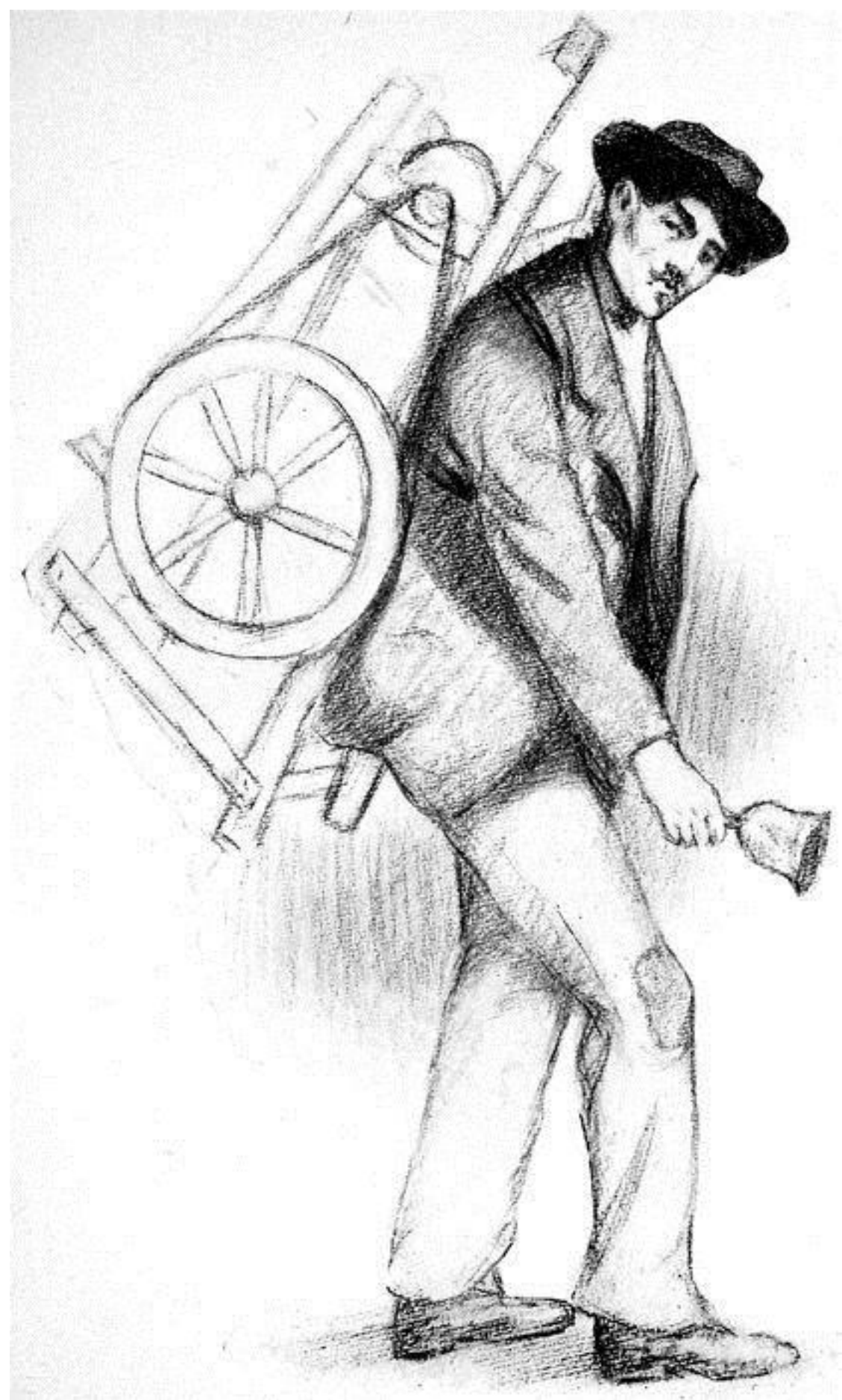
Выражение бесконечного удовлетворения и благодарности осветило лицо Айзека. Затем, слегка приподнявшись на боку, он произнес на иврите ясным, хотя и слабым голосом слова еврейского ритуала для умирающих: “Слушай, о Израиль, Господа Бога нашего, Господь един. Да будет благословенно славное имя царства Твоего во веки веков. В Твои руки Я предаю дух мой. Ты искупил меня, о Господь, Бог истины”. И вот он скончался.

Каждый год, в годовщину смерти Исаака, Алиса, ныне девушка, достигшая зрелости, посещает могилу Исаака на еврейском кладбище в Бостоне, где он покоится; и если искренние слезы и неподдельная печаль приемлемы в глазах Бога, то действительно ли ее приношение приемлемо и свято.

ТОЧИЛЬЩИК НОЖНИЦ

“Ножницы для заточки! Ножи, топоры или пилы для заточки! Все сделано острым, как новенькое!” Это крик, произнесенный чистым и жизнерадостным голосом, который часто можно услышать в переулках и на задних дворах, а также на улицах и проспектах той обширной и густонаселенной части американского мегаполиса, известной как грейт-Ист-Сайд. Человек, произносящий это, необычайно приятный, а также активный и напористый представитель классического ремесла шлифования ножниц. Это приятный, добродушный молодой человек со

светло-каштановыми волосами и округлым, открытым лицом, с которого пара ярко-голубых глаз смотрит на вас с откровенным и сочувственным выражением. Его поношенная одежда очень изящно сидит на его гибкой и прямой, не слишком высокой фигуре; в его движениях есть какая-то натренированная элегантность, и когда он стоит перед вами со своим шлифовальным станком за спиной, он кажется не столько скромным точильщиком домашней утвари, сколько каким-то странным солдатом, а станок у него за спиной каким-то особенным и необычным орудием войны. Его очень любят во всей округе, и его популярность приносит достаточный доход, чтобы обеспечить ему очень приличную жизнь. Когда его чистый и музыкальный крик раздаётся где-нибудь по соседству, покупатели высыпают из многоэтажных многоквартирных домов, подвальных помещений (я чуть было не написал "пещерных жилищ", этот термин вряд ли привлек бы меня к ответственности за клевету, если бы я использовал его) и маленьких магазинчиков и киосков, которыми изобилуют повсюду в окрестностях. Вскоре его окружает разношерстная толпа — евреи, итальянцы, поляки, представители богемы, мужчины, женщины и дети всех слоев общества, которые приносят ему разнообразную коллекцию недействующих столовых ножей, ветхих разделочных ножей, устаревших ножниц и допотопных пил, которые, как ожидается, он вылечит и вернет им первозданный блеск и остроту.



Но, хотя наш друг хорошо известен и популярен в округе, он, тем не менее, неизвестен. Под этим парадоксальным утверждением подразумевается, что, хотя точильщик ножниц является лично знакомой и уважаемой фигурой, подавляющему большинству его избирателей и клиентов ничего не известно о его связях, его истории или его прошлом. В этом нет ничего странного в этом разделе. Люди на Ист-Сайде, как правило, не проявляют любопытства друг к другу. Жители в основном не являются коренными жителями этой земли, но представляют собой случайное скопление людей из всех стран цивилизованного мира, изгнанных из своей родной среды обитания штормами и стрессом от суровых переживаний и собранных в Новом Свете сверкающими достопримечательностями Золотой Земли. При таких обстоятельствах не всегда желательно проявлять чрезмерное любопытство к прошлой истории своих соседей и друзей, и поэтому жители Ист-Сайда благоразумно лишены любопытства и вполне довольны, если люди, с которыми они общаются, на их нынешнем этапе жизни порядочны и хорошо себя ведут. Вот почему никто ничего не знает (или знал до недавнего времени) о точильщике ножниц - ни его истории, ни его семьи, ни даже его имени. Тем не менее некоторое время назад его история вышла в свет, и оказалось, что это то, чего никто не ожидал, судя по беспечной и приятной внешности точильщика ножниц, настоящая моральная трагедия, рассказ о слепом средневековом угнетении, о высоких амбициях, внезапно взорванных, о странном и возвышенном героизме. Это вышло через Менделя Гринбергера.

Мендель, владелец небольшого магазина оптики на Орчард-стрит, недалеко от Гранд-стрит, сам обладает значительной репутацией и, в отличие от большинства местных жителей, одарен живым любопытством по отношению к людям, с которыми он вступает в контакт. Мендель довольно много путешествовал по всему миру и приобрел в ходе своих странствий знание дюжины или более языков и по меньшей мере трех профессий. Но чем он больше всего гордится, так это своей *человечностью*, то есть способностью с первого взгляда определять происхождение незнакомцев, которых он видит впервые, и классифицировать их в соответствии с расовыми, религиозными и социальными элементами или подразделениями, к которым они принадлежат. Об этом он делает вывод по внешнему виду, поведению и речи заинтересованных лиц, и в особо интересных случаях ему удается заставить их назвать свои имена и другие личные подробности, представляющие интерес, но не задавая прямых вопросов, которые он считает дерзкими.

Когда точильщик ножниц начал появляться по соседству и Мендель начал давать ему работу по его призванию, он сразу понял, что перед ним интересная и чрезвычайно загадочная личность. Это была настоящая проблема из тех, которые любил решать Мендель Гринбергер, но она бросала вызов его способностям к анализу и классификации. Хоть убей, он не мог понять, кем или чем был этот красивый молодой человек с приятной речью, занимавшийся скромным ремеслом, явно столь неподходящим для него. Его типаж был абсолютно неотличим. Что касается внешности, то невозможно было сказать, был ли он евреем или неевреем, и нет причин относить его к какой-либо одной европейской нации, а не к другой. Его поведение и манеры столь же мало подходили для руководства, поскольку, хотя он был вежлив и явно хорошо воспитан, у него не было никаких манер. Сбитый с толку своей неспособностью «определить местонахождение» своего нового знакомого по этим обычно безошибочным

признакам, Мендель прибегнул к средству обращения к нему на разных языках. Но тут Мендель, так сказать, “споткнулся” еще более решительно, чем раньше. Точильщик ножниц говорил, за одним исключением, на всех европейских языках, которые знал Мендель, но с превосходным акцентом и более правильной грамматикой. Его английский был таким, каким говорят при рождении, хотя и лишенным акцента кокни или янки; его французский сделал бы честь любому *бульварщику*; его немецкий был столь же безупречно точен в построении и произношении, как у любого соотечественника Гете или Шиллера; а что касается итальянского, испанского, русского, польского и венгерского, не говоря уже о второстепенных языках - богемском, румынском, сербском, греческом, турецком, - он говорил на них с совершенной легкостью и беглостью. Не имело значения, на каком языке озадаченный Мендель обращался к нему, точильщик ножниц всегда отвечал на том же языке, но не выказывая никакого удивления и как будто это было естественно и ожидаемо - говорить на любой существующей идиоме. Но, как уже говорилось, было одно исключение из полиглота точильщика ножниц. Он не знал идиш, потому что, когда Мендель обратился к нему на этом языке, он не очень хорошо понял его и ответил по-немецки, на языке, наиболее близком к диалекту евреев славянских земель, и без использования каких-либо ивритских слов или фраз, которыми даже немецкие евреи обычно пересыпают свою речь. Менделю пришлось признать самому себе, что точильщик ножниц был загадкой, которую даже он, с его большим знанием людей, не мог разгадать. Однако в двух вещах он был уверен: во-первых, точильщик ножниц изначально занимал гораздо более высокое социальное положение, чем предполагало его скромное призвание, поскольку его манеры и осанка, а главное, его выдающиеся лингвистические достижения были объяснимы только изысканным окружением и лучшим образованием; во-вторых, он не был евреем, поскольку его незнание идиш и иврита и его явное незнание еврейских идей и обычаев убедительно показывали, что он не получил еврейского воспитания и никогда близко не общался с еврейскими кругами.

Мендель сначала предположил, что точильщик ножниц был дворянином какой-нибудь европейской нации, который был вынужден покинуть свою родину по политическим или иным причинам и был вынужден содержать себя собственным трудом в изгнании. Дворяне в изгнании, однако, обычно не выбирают профессию, требующую таких навыков и трудолюбия и к тому же стоящую на столь низком социальном уровне, как точение ножниц, поэтому, поразмыслив, Мендель отказался от этой гипотезы как несостоятельной и, не имея возможности выдвинуть какую-либо более удовлетворительную, оказался, насколько это касалось вопроса, *по отношению к де риену*. Не чувствуя себя способным оставаться в таком состоянии, он стал искать другие способы решения проблемы и удовлетворения своего любопытства. Он решил спросить имя точильщика ножниц. Имена, это правда, могут быть вымышленными, но Мендель считал, что даже вымышленное имя будет своего рода ключом к идентификации его носителя, поскольку оно, по крайней мере, укажет, к какой нации или классу относит себя носитель и желает, чтобы другие считали его принадлежащим. Соответственно, когда в следующий раз точильщик ножниц появился по соседству с магазином Менделя и принес прекрасноотремонтированный перочинный нож, который Мендель дал ему наточить, последний заметил: “Прекрасная погода у нас сегодня, мистер...!” - и остановился с выжидающим видом.

- Меня зовут, - тихо сказал точильщик ножниц, - Элиэзер Шварцфельд.

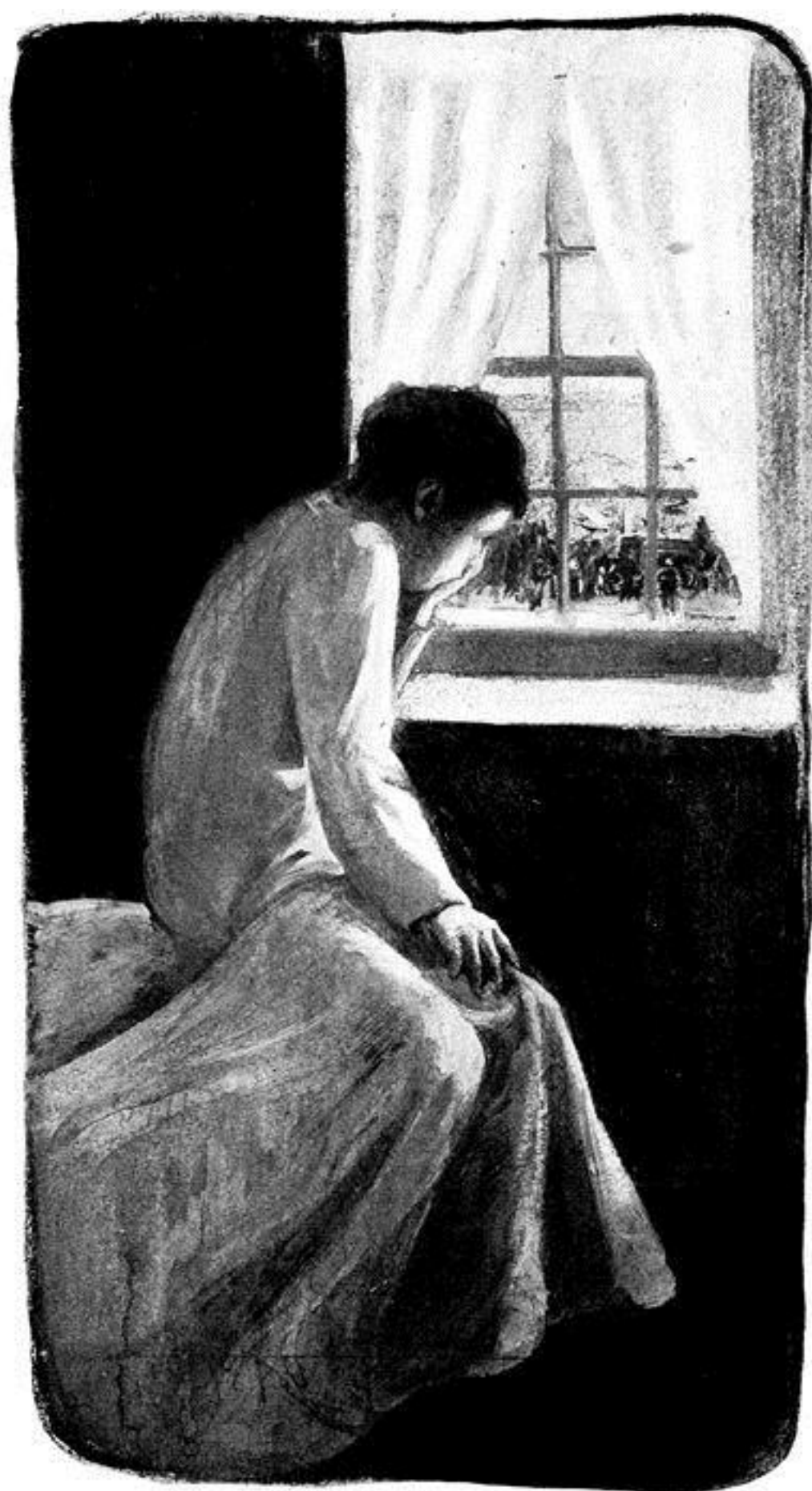
Мендель уставился на него с нескрываемым удивлением. “Это звучит крайне по-еврейски”, - сказал он. - Ты ведь не принадлежишь к избранному народу, не так ли?

“Да, я еврей”, - ответил точильщик ножниц, едва заметно улыбнувшись явному удивлению Менделя. “К тому же я русский еврей”.

Изумление Менделя возросло до совершенно комичной степени. Это был совершенно необъяснимый случай. Дело было не в том, что в физиономии точильщика ножниц не было черт, наводящих на мысль о семите — это было достаточно распространено, особенно среди российских евреев; но то, что можно было бы назвать психологией данного случая, совершенно сбивало Менделя с толку. Он часто встречал евреев, которые были хорошо образованны и свободно говорили на нескольких языках, но за весь свой опыт он никогда не встречал человека, который не имел бы хотя бы некоторого, пусть даже незначительного, знакомства с еврейскими родными языками, идишем или ивритом. Он часто соприкасался с евреями, хорошо и мягко воспитанными в своих родных краях, которые были вынуждены в силу неблагоприятных обстоятельств зарабатывать себе на хлеб скромным трудом в Америке; но они неизменно находили работу в какой-нибудь из так называемых “еврейских” отраслей промышленности, таких как пошив одежды, изготовление плащей, упаковка сигар или тому подобное, которые открывали, по крайней мере, дверь в будущее независимого производителя или торговца. Но что-то столь плебейское и безнадежное, как скрежетание ножницами, да к тому же принятое человеком явно утонченным, — да ведь это было совершенно аномально, неслыханно! Он смотрел на точильщика ножниц, не произнося ни слова, но в глазах его безошибочно читалось изумление.

“Вы удивлены, - сказал тот, - я полагаю, потому, что я, хотя и еврей, не говорю на идише, и потому, что я не нашел ничего лучшего, как точить ножницы и ножи. Позвольте мне рассказать вам мою историю, и вы больше не будете удивляться. Я очень мало помню о своем раннем детстве. Я думаю, моя мать, должно быть, умерла, когда я был едва ли старше младенца, потому что все, что я могу вспомнить о ней, - это очень смутный образ милого, материнского лица, склонившегося надо мной, и нежного, любящего голоса, называющего меня дорогой и голубкой. Мой отец, должно быть, тоже покинул эту землю, когда мне было всего четыре или пять лет. Мои воспоминания о нем тоже немногочисленны и расплывчаты. Я могу вспомнить, что я был очень маленьким ребенком на попечении старой, вспыльчивой женщины, кажется, еврейки, которая обращалась со мной со странной смесью жестокости и доброты. Мой отец изредка навещал меня в этом месте и приносил мне сладости и маленькие подарки, и я помню, что в этих случаях он всегда был одет в блестящую униформу, которая наполняла мое детское сердце восхищением и трепетом. Мое самое отчетливое воспоминание о моем отце связано с обстоятельствами его смерти. Однажды его привели в дом с окровавленными бинтами вокруг головы и груди и с мертвенно-бледным лицом. Они положили его на кушетку, и в течение нескольких дней приходили врачи, чтобы лечить его, и люди, одетые в еще более яркую и красивую форму, чем у него, приходили навестить его, и некоторые из них трепали меня за подбородок и называли прекрасным малышом. И вот однажды он позвал меня к своей постели и сказал мне таким слабым голосом, что мне пришлось приложить ухо к его губам, чтобы расслышать его слова: ‘Элиэзер, мой дорогой мальчик, я скоро умру и должен оставить тебя одного в этом мире. Но я поговорил с хорошими людьми, и они пообещали мне заботиться о тебе и проследить, чтобы ты получил образование, чтобы стать тем, кем был твой отец — солдатом, — но более высоким и благородным, чем он мог бы быть. Всегда будь добрым и

благородным во всех своих поступках, и прежде всего, сын мой, никогда не забывай, где бы ты ни был и кем бы ты ни стал, что ты еврей, таким же был твой отец, и никогда не позволяй ничему отклонить тебя от твоей верности святым традициям нашей религии и народа'. Затем он поцеловал меня в лоб, и, хотя я была ребенком, я поняла, что должно произойти что-то ужасное, и разразилась агонией горьких рыданий, которые конвульсивно сотрясли мое маленькое тельце. В ту же ночь он умер, а на следующий день его увезли при большом скоплении людей, среди которых было много незнакомых мне еврейских мужчин и женщин, которые громко плакали, сопровождая похоронную процессию. Была также длинная шеренга солдат, которые маршировали с распущенными флагами и перевернутым оружием, а перед ними шли музыканты и барабанщики с обтянутыми крепом барабанами, которые на ходу наигрывали печальную, похоронную мелодию. Я остался позади, глядя в окно на похоронную процессию, пока она была в поле зрения, рыдая так, как будто само мое сердце вот-вот разорвется, и чувствуя, что теперь я остался совсем один в этом мире, без друга, защитника или доброжелателя. Но в тот же день ко мне домой пришел офицер с добрым голосом, дружелюбного вида, одетый в блестящую форму, и сказал пожилой женщине, которая присматривала за мной, что он полковник. Иван Менчиков, и что он был назначен законным опекуном сына капрала Шварцфельда и приехал, чтобы забрать меня. Я заметил, что пожилая женщина, казалось, была недовольна и что-то недовольно проворчала себе под нос, но вслух не возразила, а взяла деньги, которые предложил ей полковник. Затем она собрала мои маленькие пожитки, отнесла их в экипаж, который ждал у дверей, и мы с полковником сели в него и поехали на железнодорожную станцию, откуда отправились в дом полковника, который находился в городе Елисаветграде, за много миль отсюда. Я оставался в семье полковника восемь или девять лет. Ко мне относились с предельной добротой — фактически, во всех отношениях, кроме одного, точно так же, как к детям в семье. Полковник Менчиков был очень щепетилен в отношении образования своих детей. Он держал лучших частных репетиторов по всем предметам и особенно настаивал на том, чтобы они изучали все основные европейские языки, знание которых, по его словам, было необходимостью для дворянина. У меня, конечно, было такое же преимущество, как и у всех остальных, и я быстро обнаружил, что обладаю особым лингвистическим талантом, и, хотя я легко шел в ногу с мальчиками и девочками Менчиковых по всем предметам обучения в целом, в том, что касается овладения языками, я был настолько выше их, что меня вообще нельзя было сравнивать с ними. Для меня не составило никакого труда освоить новый язык; формы, казалось, естественным образом запечатлевались в моем сознании, и моя память с величайшей легкостью сохраняла множество новых терминов и выражений, которые были представлены в каждом языке.



Я ОСТАЛСЯ ПОЗАДИ И СМОТРЕЛ В ОКНО НА ПОХОРОННУЮ ПРОЦЕССИЮ.

Страница 196

“В чем мое образование отличалось от образования моих товарищей, так это в том, что касалось религии. Полковник Менчиков был ревностным приверженцем греческой церкви и настаивал на том, чтобы его дети были ознакомлены с ее доктриной, а также чтобы они регулярно посещали богослужения в прекрасной церкви города. Я был освобожден от обоих этих требований, но, поскольку он не запрещал мне посещать их, у меня вошло в привычку по собственному желанию присутствовать на уроках религии, которые некий папа давал им дважды в неделю, и я часто присутствовал на службе в церкви по воскресеньям и в праздничные дни. Я не получал наставлений на иврите и, к своему стыду, должен признаться, был совершенно незнаком с учением религии, в которой я родился и которой мой отец на смертном одре заклинал меня быть верным. Однако я вовсе не чувствовал влечения к учению греческого христианства. Мое посещение церкви и уроков было вызвано исключительно любопытством, и я часто ловил себя на том, что презрительно улыбаюсь тому, чему мои товарищи были вынуждены учиться и во что верили. Поскольку я также ничего не знал об иудаизме и не хранил его, полагаю, в то время меня причисляли к юным язычникам.

“После того, как я прожил около двух лет в доме полковника Менчикова, он рассказал мне историю моего отца и причину, по которой он, полковник, был так дружелюбен ко мне. Мой отец, кажется, большую часть своей жизни был солдатом русской армии и привлек к себе внимание своей галантностью и верностью. Он принимал участие во многих сражениях на Кавказе и дослужился до звания капрала, которое было настолько высоким, насколько мог стремиться необразованный человек и еврей. В ожесточенной рукопашной схватке в одном из таких сражений он спас жизнь полковнику Менчикову, который затем, движимый благодарностью, спросил его, чем он может отблагодарить его за оказанную им большую услугу. Мой отец, да будет благословенна его память, который был столь же непритязателен и скромнен, сколь и храбр, ответил, что он не желает вознаграждения для себя, поскольку он только выполнил свой долг, защищая своего командира, но что у него есть единственный ребенок, сын, мать которого умерла, когда он был еще младенцем, и что он, мой отец, желает, в случае своей смерти на войне, чтобы полковник позаботился о мальчике и получил надлежащее образование, и если в последующие годы нетерпимые законы будут изменены и евреям будет разрешено становиться военными. офицеры, что он должен приложить усилия, чтобы его приняли в военную академию и подготовили к военной карьере. Все это полковник охотно пообещал и считал это лишь незначительной наградой за спасение своей жизни.

Вскоре после этого мой отец получил смертельное ранение от руки одного из свирепых воинов Кавказа. По его собственной настоятельной просьбе его привезли в дом, где жил его маленький сын на попечении старой няни, чтобы он провел несколько оставшихся дней своей жизни; а когда он умер, ему была оказана, в знак его исключительных заслуг, особая честь - пышные военные похороны. Полковник тогда официально взял на себя заботу обо мне, и с тех пор я жил в его доме. Полковник заверил меня, что он горячо любит меня ради моего отца, память о котором для него священна, и что он сделает все, что в его силах, чтобы способствовать моему благополучию и помочь мне выбрать военную карьеру, как того желал мой отец. Он сдержал свое слово. До моего четырнадцатилетия он заботился обо мне самым щедрым и добросердечным образом, одинаково хорошо удовлетворяя мои физические и

интеллектуальные потребности, а затем, поскольку я достиг возраста, когда юноши, намеревающиеся сделать военную карьеру, должны начинать свое обучение, он добился моего поступления в Императорскую военную академию в Санкт-Петербурге. Нелиберальные законы, запрещающие присваивать звания евреям, не были, правда, официально отменены, но дух терпимости витал в стране повсюду; это было во времена доброго царя Александра II, который во многих отношениях облегчил участь всех угнетенных народов своего королевства, и поэтому мой добрый защитник и опекун не встретил никаких трудностей или обескураживаний, добиваясь моего поступления в академию. Напротив, сотрудники учреждения были чрезвычайно добры и отзывчивы. Они приняли меня с распростертыми объятиями как сироту, сына доблестного капрала Шварцфельда, о героическом прошлом которого они были хорошо осведомлены, и как подопечного имеющего хорошие связи и влиятельного полковника Менчикова. Тот факт, что я еврей, почти не упоминался, а если и было сделано какое-либо случайное упоминание об этом, то оно сопровождалось заявлением, что в моем случае это, несомненно, ничего не изменит и что, принимая во внимание мои исключительные рекомендации, мне не нужно ожидать никаких трудностей в получении удовлетворительного назначения, когда я закончу свой курс.

“Я простился со своими благодетелями со слезами и объятиями — и по сей день не могу думать о полковнике Менчикове и его хорошей, добросердечной семье без глубокого волнения, потому что они были благородными, искренними людьми и очень хорошо относились ко мне — и продолжил учебу в военной академии. Я не буду подробно рассказывать о своей карьере в военной академии, ибо сейчас нет никакой разницы, хорошо я учился или плохо, и, кроме того, со стороны бедного точильщика ножниц было глупо хвастаться былыми успехами своей жизни. Достаточно сказать, что я более чем преуспел во всех областях обучения и, кроме того, специализировался по трем предметам. Я с большим рвением посвятил себя изучению военной техники и языков, а также стремился приобрести экспертные знания в области производства и подготовки оружия, как режущего, так и стреляющего снарядами. Последние две отрасли знаний я изучал с мыслью, что они будут особенно полезны, если я когда-нибудь стану сотрудником генерального штаба или получу какой-нибудь высокий военно-политический пост, когда знание языков, особенно славянских, и способность критиковать качество вооружения, поставляемого в армию, окажутся неоценимыми. Я думал о себе как о солдате, и только о солдате. О других вещах я почти не думал, настолько поглощен был подготовкой к своему будущему призванию — и меньше всего о религиозной верности или еврейских традициях. За все семь лет моего обучения в военной академии я ни разу не заходил в синагогу — фактически, я бы не знал, что делать, если бы пошел туда, потому что я был совершенно незнаком с ивритом и ничего не знал о способах богослужения среди евреев; я никогда не посещал еврейских праздников, никогда не присутствовал на религиозных собраниях любого рода, поскольку я также отказался от своего прежнего интереса к христианству; я не общался с ивритом и даже не знал его; короче говоря, по сути, я забыл, что я еврей, и не было никакой необходимости рассматривать вопрос о моем отношении к христианству. к вере моих предков, а мои друзья и коллеги по академии, которые все были очень либерально настроенными и терпимыми, никоим образом не напоминали мне об этом. Лично я пользовался популярностью как у преподавателей, так и у студентов, и, когда начался последний год обучения, я получил неофициальное уведомление от преподавателей, что из-за моих исключительных знаний в технических вопросах я буду рекомендован для назначения после окончания учебы на должность капитана инженерных войск.

Наконец настал долгожданный день — начало занятий. Я сдал блестящий экзамен и был назначен выпускником класса. Большая *аула*, или зал академии, была до отказа заполнена блестящим и выдающимся собранием, среди которых были храбрые мужчины и прекрасные женщины, носители самых гордых и древних имен России. В передней части зала, обращенной к сцене, в два длинных ряда сидели выпускники в опрятной униформе, среди них был и я. В передней части сцены, за столом, на котором были разложены цветы, дипломы выпускников и другие бумаги, сидел достопочтенный генерал Попов, президент академии, а за ним профессорско-преподавательский состав и большое количество почетных гостей. Незадолго до часа, назначенного для начала церемоний, в зал вошел ординарец, подошел к генералу Попову, отдал честь по военному уставу, вручил ему записку, снова отдал честь и удалился. Не знаю, почему, но дрожьдурного предчувствия пробежала по мне, когда я увидел это действие. Я инстинктивно почувствовал, что это беспокоит меня и не предвещает ничего хорошего. Генерал вскрыл письмо, я все это время мучительно разглядывал его, и я увидел, как он вздрогнул, прочитав его содержание. С минуту он сидел, подперев голову руками, очевидно, погруженный в глубокую задумчивость. Затем он позвал слугу и сказал ему несколько слов. Мгновение спустя дежурный встал рядом со мной.

“Генерал желает поговорить с вами в комнате сбоку от сцены”, - сказал он.

Горячая кровь стремительно бросилась мне в голову, а сердце сильно забилося, когда я вошел в комнату, куда меня вызвали. Генерал Попов уже был на месте и с жалостью посмотрел на меня, когда я вошел. ‘По вашему приказанию, генерал”, - сказал я, с огромным усилием скрывая свое волнение и чопорно отдавая честь. Генерал не ответил, но протянул мне бумагу, очевидно, письмо, которое он только что получил. Это было официальное сообщение, скрепленное правительственной печатью, и гласило следующее:

- Военное министерство.

“Генералу Алексею Попову, президенту Императорской военной академии.

“Настоящим подтверждаю получение вашего отчета, удостоверяющего право курсантов на выпуск и рекомендующего то же самое для различных назначений в армии. То же самое одобрено, и вы уполномочены выдавать свидетельства об окончании школы всем указанным в них кадетам, за исключением кадета Шварцфельда. В его случае, по-видимому, есть некоторые сомнения в том, был ли он должным образом крещен в православной церкви, и настоящим вам приказывается хранить у себя его свидетельство до тех пор, пока вы сами не убедитесь, что это так.

“От имени министра,

- Красневиц, *секретарь*.

Я перечитал записку два или три раза. Ее содержание, казалось, огненными буквами выжглось в моем мозгу. Я посмотрел на генерала. Он ничего не сказал и казался глубоко взволнованным. Наконец я заставил себя обратиться к нему, и мой голос звучал странно резко и металлически, когда я заговорил:

“Что же делать в этом случае, ваше превосходительство?” - Спросил я.

“Мой дорогой мальчик, ’ сказал генерал, и в его голосе прозвучала искренняя нотка сочувствия, ‘ я отправил свой отчет больше месяца назад и, не получив никакого ответа, подумал, что все в порядке и я могу продолжать. Я не думал, что это произойдет. Есть только одна вещь, которую вы можете сделать. Ты должен пойти и креститься в православную веру, иначе ты не сможешь получить ни аттестата, ни назначения, и твоей карьере придет конец”.

“А как насчет сегодняшнего вечернего мероприятия?” - Спросила я, и весь мир, казалось, закружился вокруг меня. ‘ Я что, не получу аттестат? Разве я не должен произнести свою прощальную речь?”

“Строго говоря, вам не следовало бы позволять делать ни того, ни другого, - сказал генерал, и его голос прозвучал еще более сочувственно, чем раньше. - Но мне было бы жаль видеть, как вы подвергаетесь публичному унижению. Я скажу вам, что я могу сделать. Если вы пообещаете мне, что завтра пойдете креститься, я приму ваше честное слово, и вы получите свое свидетельство и сообщите свой адрес. Но вы должны ответить мне немедленно, - и он взглянул на часы, - потому что час становится поздним и заседание скоро должно начаться.

“Мой мозг, казалось, был парализован и потерял всякую способность соображать, когда я слушал слова генерала, произнесенные по-доброму, но, о, такие горькие для меня. Мое сердце колотилось в груди так, словно готово было вырваться за ее пределы. Я жаждал дать ответ, которого ждал генерал, но фигура моего умирающего отца, распростертого на ложе страданий, внезапно возникла передо мной; я снова увидел его бледное лицо и окровавленные бинты, и снова услышал его слабый голос, говорящий: “Прежде всего, сын мой, никогда не забывай, что ты еврей, и никогда не позволяй ничему отклонить тебя от твоей верности святым традициям нашей религии и народа” - и я не смог.

“Сейчас я не могу дать вам такого обещания, ваше превосходительство”, - сказал я прерывающимся голосом, чьи мучительные стоны были слышны даже мне. - Мне нужно время, чтобы обдумать это дело.

“В таком случае, - сказал генерал, и его голос зазвучал отчетливо тверже, - я должен попросить вас покинуть зал, где ваше присутствие стало неподобающим; и в любое время, когда вы будете готовы предпринять необходимые шаги, вы можете уведомить меня, и я позабочусь о том, чтобы вы получили свое удостоверение и назначение”.

Я отдал честь и удалился. Я прошел на свое место, взял свою военную фуражку и, не сказав ни слова моим сокурсникам, сразу же покинул зал, хотя не мог не заметить гул изумления как среди курсантов, так и среди зрителей, когда я шел по проходу к двери. В ту ночь на своем диване я вел более ожесточенную битву, чем любая другая, в которой я когда-либо мог бы принять участие, если бы мне выпала честь начать свою предполагаемую карьеру. Две противоборствующие силы были выстроены друг против друга и яростно боролись — с одной стороны, личный интерес и естественно сильное разочарование при виде того, как столь желанная карьера была жестоко оборвана, даже не подавлена в зародыше; с другой стороны, сыновняя преданность и недавно пробудившееся чувство расовой и религиозной лояльности. Один сказал: ‘Зачем губить себя? Какое тебе дело до иудаизма? Ты никогда не соблюдал его заповедей. Позволь им окропить тебя тремя каплями. Это всего лишь входной билет в твое будущее. Внутренне ты можешь оставаться таким, какой ты есть. Другой говорил мало. Было только бледное лицо моего умирающего отца и его слабый голос, говоривший: ‘Прежде всего,

сын мой, никогда не забывай, что ты еврей, и никогда не позволяй ничему отклонить тебя от твоей верности святым традициям нашей религии и народа".

“Всю ночь напролет бушевала битва, пока я ворочался на своем усталом ложе и не сомкнул глаз; но когда ранний утренний свет пробрался сквозь решетку моего дома, мой отец одержал победу. Я встал, наскоро привел себя в порядок и написал письмо генералу, сообщив ему, что я принял решение оставаться верным своей вере, даже ценой своей карьеры. В тот же день я собрал свои вещи и навсегда покинул ненавистную мне Россию. Я сразу же отплыл в Америку, страну, где люди свободны и где государство спрашивает, какого происхождения или религии человек, прежде чем разрешить ему посвятить ей свои заслуги. В Нью-Йорке я обнаружил, что мои таланты и знания не помогли мне найти работу. Казалось, что все места заполнены, и не было недостатка в образованных людях, безуспешно ищущих работу. Но, к счастью, я постиг искусство заточки и отпуска стальных лезвий, и таким образом я стал точилкой ножей и точильщиком ножниц, и мне удастся содержать себя. Теперь вы знаете, почему я в Нью-Йорке, точильщик ножниц и еврей, вместо того чтобы быть в России, капитаном инженерных войск и христианином. Могу я сегодня наточить для вас что-нибудь еще? Нет, в следующий раз; ладно, до свидания.

И точильщик ножниц отправился на поиски других покупателей, весело насвистывая при этом и оставив Менделя Гринбергера позади, погруженного в глубокие размышления.

ШЛЕМИЛЬ.

Ново-Кайданск был самым *шлемилигским* местом, а Ерахмиэль Сендоровиц был самым *шлемилигским* из всех его жителей. Действительно, его характер как таковой был настолько ярко выражен и общеизвестен, что к нему редко обращались по его собственному прозвищу, но обычно о нем говорили как о “Йерахмиэле Шлемиле”, или, в более короткой форме, “*Шлемиле*”. В интересах тех моих читателей, которые не знакомы с иудео-германским идиомом, я объясню, что существительное “*Шлемиль*” обычно считается искажением имени Шелумиэля бен Зурисада, одного из князей Израиля в пустыне, о котором пел Гейне и который, согласно еврейской традиции, был крайне неуклюжим типом, постоянно попадавшим во всевозможные передраги. Существительное “*Schlemihl*”, соответственно, обозначает отягощенный вид неумехи, безнадежно неспособного; а производное от него прилагательное является синонимом всего, что является совершенно непрогрессивным и убогим.



ЭТОТ ЧЕЛОВЕК БЫЛ НЕСЧАСТНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, С ГОЛОДНЫМИ ГЛАЗАМИ, СМОТРЯЩИМИ НА ВАС С ИЗМОЖДЕННОГО, ИЗБОРОЖДЕННОГО МОРЩИНАМИ ЛИЦА

Страница 212

И Ново-Кайданск, и Ерахмиэль Сендоровиц заслуживали этих названий в полной мере. Город представлял собой скопление жалких хижин и лачуг, беспорядочно разбросанных по унылым просторам литовской равнины, с немощеными улицами, которые большую часть лета были по щиколотку в пыли, а большую часть зимы - по колено в грязи, слякоти и снегу. Этот человек был несчастным образцом человечности, с голодными глазами, глядящими на вас с изможденного, изборозженного морщинами лица, нижнюю часть которого обрамляла запущенного вида рыжеватая борода; одетый в поношенный разноцветный костюм - человек, который был готов выполнять любую работу за несколько копеек, и которому редко удавалось увидеть целый рубль. Он вовсе не был ни плохим парнем, ни глупым. Напротив, у него было довольно поверхностное образование на иврите, и он терпеливо сносил непрекращающиеся упреки и придирки своей жены Шпринце, которая, несмотря на благоприятное значение своего имени — идишское искажение мелодичного испанского имени Эсперанса-Хоуп — и, таким образом, также отдаленное напоминание о пребывании детей Израиля на прекрасном Пиренейском полуострове, — не сделала ничего, чтобы вселить в своего близкого супруга мужество или уверенность, но этого было достаточно, чтобы сломить решимость любого мужчины. Было известно, что он никогда не отвечал на ее оскорбления ни единым резким словом. Без сомнения, большая часть его терпения была вызвана знанием того факта, что у Шпринце было достаточно поводов для провокации, поскольку, какой бы ни была причина, Йерахмиэль просто не мог зарабатывать себе на жизнь. Но, хотя у Шпринце были причины для своего дурного настроения, оправдания у нее не было никакого. Йерахмиэль сделал все, что мог, и это была не его вина, а только жестокость бесчувственной судьбы, которая помешала ему извлечь из мира даже “хлеб невзгод и воду скорби”. Он пытался немного подзаработать, работая носильщиком у одного из городских торговцев за очень мизерную плату, но как раз в тот момент, когда он собирался получить это место, появился человек помоложе и посильнее и предложил выполнить эту работу еще за меньшую плату. Излишне говорить, что было выбрано последнее. Он думал, что сможет зарабатывать себе на жизнь, будучи *Митассеком*, то есть тем, кто дежурит у постели умершего и совершает погребальные омовения и обряды; но в то время года было на редкость здорово. Долгое время никто не умирал; и когда, наконец, ангел смерти забрал одного из еврейских жителей Ново-Кайданска — богатого *Баал Ха-Байита*, которым он тоже был, чья семья всегда щедро платила за все услуги, оказываемые любому из своих членов, — просто случилось так, что у них был бедный родственник, пожилой человек большей учености и более строгого благочестия, чем Ерахмиэль; и поэтому, конечно, ему отдали предпочтение, а Ерахмиэля вообще не рассматривали. Одно время он торговал фруктами, купив небольшой запас на сумму денег, которую ему дал сострадательный филантроп, чтобы начать свое дело; но спрос на фрукты в то время был очень слабым, и вскоре Йерахмиэль решил уйти из этой сферы торговли с капиталом, которым он изначально владел, то есть без ничего. Он предпринял дюжину других попыток уговорить не желающий мир обеспечить его пропитанием, но каждая попытка заканчивалась одним и тем же результатом — неудачей и заставляла его заметно падать в глазах Шпринце, чей нрав становился все ожесточеннее, а язык острее с каждым новым доказательством *Шлемихлигкейта* ее мужа. На самом деле термин *Шлемиль*

больше не соответствовал ее представлению о никчемности мужа; он был слишком мягким, слишком совершенно неадекватным. Она стала называть его не иначе, как *Шламаззальник*, то есть тот, кто обречен на вечные несчастья; и вскоре соседи и другие горожане, и даже уличные дети подхватили крик, и “Ерахмиэль Шламаззальник” разносились от одного конца до другого пыльных магистралей Ново-Кайданска всякий раз, когда бедняга появлялся. Бедный Йерахмиэль! Он утешал себя тем, что в некоторых отношениях равен великому Ибн Эзре, известному еврейскому экзегету и поэту средневековья, поскольку последний также был неизлечимым *шлемихлом* и *шлемаззальником*. Йерахмиэль раньше думал, что читает о своем собственном опыте, когда читал жалобу Ибн Эзры:

- Если бы я торговал свечами,

Солнце светило бы всегда;

И если бы это были саваны, с которыми я бы справился,

Тогда смерть прошла бы”.

Но поэзия, хотя и может быть хорошим утешителем, плохо заменяет сытную пищу и другие необходимые условия безбедной жизни; и поэтому Йерахмиэль не был полностью доволен своей участью, даже несмотря на то, что великий Ибн Эзра был товарищем по несчастью. Обнаружив, что его попытки заработать на жизнь трудом не увенчались успехом, Йерахмиэль сделал то, что делали другие неудачники в аналогичных обстоятельствах — он обратился к религии. Он стал усердным служителем в местном храме Бет Хаммидраш, присутствовал на всех службах утром, днем и вечером и оставался в священном здании большую часть дня и ночи. Он молился с большим рвением, особенно “молитвой о пропитании” в конце утренней службы, внимательно слушал раввина или других ученых талмудистов, разъясняющих Священный Закон, и иногда пытался сам немного почерпнуть из некоторых объемистых томов. Он, без сомнения, был искренен в своем новообретенном рвении, но искренность подталкивает к утверждению, что одним из мотивов его любви к священному месту было желание иметь убежище, куда острый язычок Шпринце не мог бы его достать; и другим было желание участвовать в пожертвованиях, которые раздавались в определенных случаях, таких как начало месячных или дни памяти о смерти родителей состоятельных прихожан, бедным людям, которые регулярно посещали это место. Таким образом, ему удавалось существовать ненадежным образом, по крайней мере, не будучи обузой для своей жены; потому что всякий раз, когда у него появлялось немного денег, он отдавал их ей, а когда у него их не было, он просто не ел. Это правда, иногда ему приходилось обходиться без еды или почти без нее по нескольку дней кряду; но, как и все остальное, полуголодание становится привычкой, и Йерахмиэль настолько привык к этому, что даже не жаловался.

Однажды днем он углубился в изучение одного из томов Талмуда, пытаясь заинтересовать себя особенно запутанным диспутом между Абайе и Рабой и таким образом забыть тот неидеалистичный факт, что он три дня как следует не ел и что не было никаких видимых перспектив получить что-либо в ближайшем будущем. Он впал в легкую дремоту, и ему только что приснилось, что *парнасцы* пригласили его пообедать с ним в субботу, и что субботнего гуся, сочного, пикантного и аппетитного, только что подали к столу, как его разбудил сильный удар по плечу и громкий голос, воскликнувший неистовым, хотя и дружелюбным тоном: “Просыпайся, старый *Чавер*! Что ты здесь делаешь? Йерахмиэль, вздрогнув, проснулся. Видение вкусного гуся

растворилось в воздухе, и он уже собирался гневно запротестовать против грубого нарушения его чарующего сна, когда узнал, что человек, стоящий перед ним с широкой улыбкой на лице, был не кто иной, как Шмульке Ароновиц, его старый друг и товарищ детства. Это, конечно, был Шмульке, но странно измененный. Он был одет в элегантный костюм иностранного производства; его волосы и борода были тщательно подстрижены, и весь его внешний вид, включая румяное лицо и жизнерадостную улыбку, свидетельствовал о достатке. Видит бог, все эти особенности были достаточно странными в Ново-Кайданске, но вряд ли они вызывали удивление у Шмульке, который эмигрировал в Америку около двадцати лет назад и сколотил состояние на алкогольном бизнесе в классическом районе Бакстер-стрит в Нью-Йорке. Он американизировал свое прозвище в Сэмюэл Ааронс и случайно приобрел местную известность благодаря боксерским способностям, так что его иногда называли “Сэм, отбивающий удары на иврите”. Сейчас он находился в гостях в своем родном городе, где все еще жили его родители, и был искренне рад увидеть Йерахмиэля, который был ему настоящим другом в детстве. Последний несколько мгновений ошеломленно смотрел на своего старого друга, совершенно не в силах вымолвить ни слова, настолько ошеломлен он был неожиданным зрелищем, а также явным контрастом между своим собственным состоянием и состоянием своего друга.

Шмульке напомнил ему о себе. “Ну же, ну же, старый товарищ”, - сказал он с добродушным нетерпением. “ Не сиди и не пялься на меня, как на диковинку в цирке. Высказывайся и расскажи мне, как у тебя дела”. Ободренный таким образом, Йерахмиэль, не теряя времени, донес свою печальную историю до ушей своего друга. Шмульке внимательно слушал, пока не было рассказано все, включая настоящий голод и сказочного гуся, а затем сказал: “Это очень плохо, Йерахмиэль. Мне действительно жаль, что вам так не повезло. Пойдем со мной в отель реб Янкеле, где, если вы не можете получить жареный гусь из которых я лишил тебя, по крайней мере, вы можете сделать *что-то* , чтобы поесть, и тут мы можем посоветовать, что можно сделать для вас.” Yerachmiel подчинился с готовностью.

Реб Янкеле был более чем удивлен неожиданным появлением Йерахмиэля Шлемиля, который за всю свою жизнь никогда не был достаточно богат, чтобы быть гостем в Кречме, хотя и был рад иногда поесть или выпить там в обмен на случайную работу, смело войдя в его заведение в качестве компаньона явно преуспевающего Дейча, который был явно преуспевающим. Он шагнул вперед с подобострастным поклоном и почтительным “Чего желают джентльмены?”

“Самая лучшая еда и питье, какие только есть в вашем доме, - ответил Шмульке, - и побыстрее. Рублем или двумя больше или меньше - никакой разницы”.

Ободренный таким образом трактирщик с готовностью выполнил свою задачу, и через несколько минут Шмульке и Ерахмиэль сидели за столом перед очень вкусным ужином, состоявшим из свекольного супа, жареной курицы, отварного картофеля, черного хлеба, лука, тушеного в уксусе, и большой бутылки *водки*. Йерахмиэль почти вообразил себя в Ган Эденеи был убежден, что если сны и не были пророческими, то они определенно были тесно связаны с пророчеством. Жареный цыпленок, если и не равнялся по качеству гуся мечты, то был ненамного хуже; *аводка*, хотя, несомненно, и не была так хороша, как вино, которое припасали для праведников с незапамятных времен сотворения мира, все же вполне удовлетворяла бедного грешника в безрадостном настоящем.

Шмультке наблюдал за тем, как Ерахмиэль наслаждается едой, со спокойной удовлетворенной улыбкой и спросил его: “Какой лучший способ обеспечить тебя постоянным *парносо*?”

Йерахмиэль точно не знал. Он предложил полдюжины различных профессий, от банкира до мясника, но больше всего был склонен отдать предпочтение профессии трактирщика, прелести которой он только что убедительно продемонстрировал.

Шмультке с презрением отверг все эти предложения. “По правде говоря, - сказал он, - я не верю, что вы могли бы чего-то добиться в России. В тебе слишком много от *Шлемиля*, и ты никогда не смог бы обойтись без того, чтобы о тебе кто-нибудь заботился. Что ты скажешь, если поедешь со мной в Америку? Я бы открыл тебе бизнес и помог своим советом”.

От великолепия, а также неожиданности этого предложения у Йерахмиэля перехватило дыхание. Действительно, он почувствовал легкую слабость. На самом деле он не хотел ехать в Америку. Он восхищался Америкой как страной необычайного и непостижимого процветания; но он также боялся ее как страны, которая развратила еврейское благочестие и сделала святой народ неверующим в свое древнее наследие. Он предпочел бы остаться в своих родных местах и продолжать жить привычным образом, если бы был уверен даже в самом скромном пропитании. Но в глубине души он знал, что Шмультке сказал правду; что он был слишком *Шлемилем*, чтобы добиться успеха без дружеской помощи и сочувственного руководства, и что он не мог рассчитывать получить их ни от кого, кроме старого друга своей юности. Поэтому он смущенно пробормотал согласие, добавив, однако, еле слышно, что, возможно, Шпринце не захочет, чтобы ее муж бросил ее и уехал в такую далекую страну.

“Не беспокойся об этом, старый друг”, - сказал Шмультке с широкой улыбкой. “Я гарантирую, что она не будет чинить никаких препятствий на пути к собственному процветанию. И теперь, когда вы согласились, мы немедленно отправимся к ней”.

Шмультке был прав. Однажды Шпринце согласился с предложением Шмультке, которое заключалось в том, что он отвезет Йерахмиэля в Америку и поможет ему стать самостоятельным, что он предоставит ей достаточно денег, чтобы содержать ее в течение нескольких месяцев, пока Йерахмиэль, вероятно, не сможет посылать ей деньги из своего собственного заработка; и что, если Йерахмиэль окажется неспособным приспособиться к условиям Америки и найти свой путь в своем новом доме, по истечении трех лет он, Шмультке, отправит его обратно на родину с существенным подарком. Действительно, ее согласие было настолько добровольным и дано с таким явным удовольствием, что это неприятно задело Йерахмиэля и не совсем понравилось даже Шмультке.

Так Йерахмиэль Сендоровиц стал постоянным жителем и уважаемым гражданином американской столицы. Нет необходимости вдаваться в подробности его карьеры в Новом Свете, которая по существу не отличалась от карьеры многих его российских соотечественников-евреев. Сначала он был разносчиком, Шмультке снабжал его подходящими товарами и посвящал в тайны профессии. Он не потерпел неудачу. Что-то таинственное в американской атмосфере, придающее энергию, пронизательность и практический смысл, казалось, было в его случае даже более сильным, чем обычно. Возможно, это было связано с тем фактом, что *Шлемихлигкейт*, который до сих пор был его отличительной чертой, был скорее кажущимся, чем реальным, и что он действительно обладал врожденными качествами смелости и пронизательности, которым не хватало только возможности проявить себя. Как бы то ни было, он определенно стал другим человеком под бодрящим влиянием Америки. Он

трудился с утра до вечера с неутомимым усердием и прилежанием; он разумно закупал свои мелкие товары и разумно продавал их. За шесть месяцев он превратился в разносчика товаров и больше не бродил по улицам с рюкзаком за спиной, а ходил с образцами только к многочисленным покупателям, чью дружбу и торговлю он завоевал, и получал их заказы. Год спустя он бросил и это занятие и стал гордым и счастливым владельцем лавки для разносчиков на одной из маленьких улочек, примыкающих к главной магистрали еврейского Ист-Сайда, Каналстрит, и купил доходный дом. Успех благоприятно сказался даже на его внешности. Старый сутулый, неопрятный, неумеха с голодными глазами и безнадежным видом исчез навсегда, и на его место пришел яркий, бдительный, опрятный, активный человек. *Шлемиль* Ерахмиэль уступил место мистеру Сендоровичу, преуспевающему оптовому торговцу и владельцу недвижимости. Он также не нарушил своих обещаний, данных Шпринце. Он писал ей регулярно, каждую неделю, подробно и с большой гордостью рассказывая о своих делах и успехах, не забывая также отдать должное Шмультке за ту большую роль, которую последний сыграл в достижении этих отрадных результатов, и всегда заботливо справлялся о ее здоровье и благополучии. Раз в месяц он присылал ей деньги, сначала всего несколько рублей, потом более крупные суммы, но всегда достаточные для того, чтобы она могла жить с должным комфортом в маленьком русском городке, где она жила. Он также часто писал ей о своем намерении поехать и отвезти ее в свой новый дом, как только позволят дела, поскольку она выразила сильное отвращение к пересечению “великого моря” в одиночку. Во всем этом он был совершенно искренен, ибо от природы был человеком чести и действительно любил свою жену простым, безответным образом, несмотря на то, что она никогда не давала ему повода для привязанности. Кроме того, изучение талмуда дало ему четкое убеждение в том, что муж-еврей имеет много обязательств по отношению к своей жене; но его представления о встречных обязанностях жены по отношению к мужу были гораздо менее отчетливыми. Несмотря на небольшие требования, которые он предъявлял к супружеским чувствам своей спутницы жизни, он должен был, однако, признаться самому себе, что письма Шпринце не были удовлетворительными. Они были чрезмерно краткими, не очень частыми, выражали очень мало интереса к его личному благополучию или его поступкам и неизменно содержали требование большей суммы денег. Йерахмиэль пытался следовать заповеди раввинов “Суди каждого снисходительно” и находить оправдания несимпатичному поведению Шпринце. Он сказал себе, что женщины от природы склонны к брани и что Шпринце просто следовала правилам своего пола; что она не до конца верила в его рассказы о процветании и требовала деньги в качестве проверки их правдивости; что женщины от природы менее выражают свою привязанность, чем мужчины, и полдюжины других оправданий ее кажущейся холодности и меркантильности. Но ни одно из этих оправданий не казалось действительно адекватным, и постепенно Йерахмиэль обнаружил, что в его груди растет сильное недовольство поведением жены по отношению к нему. Наконец, его начал мучить самый болезненный вопрос. “Любила ли Шпринце его вообще, или ее интерес к нему был чисто корыстным и ограничивался материальными выгодами, которые она могла от него извлечь?”

Каким бы простодушным ни был Йерахмиэль в мирских делах, неискушенным в романтических концепциях и сердечных делах, вся его натура восставала против идеи супружеских отношений с женщиной, в душе которой не горело пламя любви к нему как к ее мужу. Но как он мог установить правду; как выяснить, действительно ли его жена любит его или нет? Постепенно в его голове созрел план. Он не позволял Шпринце иметь ни малейшего представления о сомнениях и противоречивых эмоциях, которые его волновали. Он писал ей так же часто и

регулярно, как и до сих пор, и с неизменной пунктуальностью отправлял ей ежемесячные денежные переводы. Примерно после пяти лет отсутствия он написал ей, что счел наконец возможным на несколько месяцев отвлечься от своих постоянных личных забот и что он приедет и заберет ее с собой в свой новый дом в Америке. Когда Шпринце получила это письмо, оно не наполнило ее радостью, которую, как можно было бы ожидать, должна была вызвать в сердце любящей и преданной жены перспектива воссоединения с любимым и долго отсутствовавшим мужем. Она предпочла бы бессрочное пребывание в том состоянии, которое теперь длилось более пяти лет и которое она находила очень приятным. Было очень приятно получать постоянные денежные переводы, жить в комфорте и непринужденности и чтобы на тебя со всех сторон смотрели как на удачливого и счастливого человека. Когда она вошла на женскую галерею в синагоге, все женщины поспешили уступить ей дорогу с величайшим почтением; и многие высокоуважаемые *Бааль Ха-байи* смотрели на нее с благосклонностью и не побрезговали бы попросить ее руки, если бы ее обременительного положения по ту сторону Атлантики было бы достаточно, чтобы вежливо удалиться в лучший мир, оставив ей значительное состояние в американских долларах. И теперь всему этому предстояло закончиться; и она должна была покинуть свои родные места и отправиться в чужую страну и снова жить с тем, кого в глубине души она все еще презирала как *Шлемиля*, несмотря на его неожиданную удачу в Новом Свете. Кроме того, у нее было смутное предчувствие зла, ощущение, что появление Йерахмиэля означало какую-то нежелательную перемену в ее судьбе, почему или что именно, она не могла понять. Наконец от Ерахмиэля пришла депеша, извещавшая ее, что он в Гамбурге и прибудет в Ново-Кайданск с поездом, который прибывает в такой-то час. В назначенный час она была на вокзале в сопровождении целой толпы горожан-евреев, стремившихся оказать своему давно отсутствующему горожанину сердечный прием. По поводу его внешности ходили слухи. Некоторые думали, что его долгое отсутствие в чужой стране избавило бы его от еврейской внешности; что он сбрил бы бороду и во всех отношениях принял бы облик язычника. Другие считали подобное невозможным для Йерахмиэля Сендоровица; что он был слишком набожен и богобоязнен, чтобы так сильно отойти от еврейских обычаев, и что единственное вероятное изменение заключалось в том, что он был элегантно одет в изысканную одежду и своим процветающим и сияющим видом демонстрировал обладание большим количеством богатств, приобретенных в Америке. Грязный поезд, запряженный уродливым, покрытым сажей локомотивом, въехал на русскую станцию с низкой крышей. Поток пассажиров всех видов и степеней хлынул из узких проемов вагонов, и тут ожидающую толпу охватил шок. Из толпы пассажиров вышел тот, кто безошибочно был Йерахмиэлем; и, что ужасно рассказывать, прежним Йерахмиэлем, Йерахмиэлем *Шлемилем*. Конечно, внешне он был не совсем таким, как раньше, потому что шляпа и костюм, которые он носил, были американского производства; но они были поношенными и пыльными и плохо подходили преуспевающему человеку. Его волосы и борода были нечесаными и запущенными, а на лице застыло выражение тревоги и заботы. Все были удивлены и шокированы; но самым прискорбным из всех был шокирован Шпринце. Йерахмиэль сразу узнал своих горожан и свою жену и с какой-то бледной улыбкой подошел поприветствовать их. Первые, конечно, ответили на его приветствия и спросили, как ему живется в Америке; но их смущение было слишком очевидным, и, оборвав свои ответы, Йерахмиэль повернулся к своей жене, которая все это время стояла словно окаменев, и сказал: "Пойдем, принц, поедem домой". Машинально она повела его к своему дому. Едва за ними закрылась дверь маленького жилища, как все оживление и энергия, покинувшие Шпринце,

когда она увидела своего супруга в таком неожиданном и нежеланном обличье, внезапно вернулись.

“Что все это значит?” яростно спросила она, в то время как пламя гнева полыхало в ее пронзительных глазах. “Почему ты приехал ко мне из Америки, выглядя нищим и оборванным святым, только что сошедшим со скамеек "Бет-Хаммидраш", а не преуспевающим нью-йоркским торговцем, каким ты заставил нас всех поверить, что ты стал? Было ли все это ложью, вашей часто повторяемой историей о вашем успехе в бизнесе и вашем прогрессе? Украли ли вы деньги, которые прислали мне, и сбежали ли вы от представителей закона, которые, возможно, сейчас охотятся за вами? О, ты все тот же старый *Шлемиль*, все тот же старый бездельник! Почему Всевышний проклял меня, сделав твоей женой?”

“Мой дорогой Принц, не бредите так!” - упрекнул его Йерахмиэль. “Как вы можете говорить такие вещи, не выслушав от меня никаких объяснений?” Я не лжец и не *Шлемиль*. Все, что я писал вам об успехе моего бизнеса в Америке, было чистой правдой; и деньги, которые я вам посылал, были моими собственными, и все честно заработанные. Я приехал, чтобы забрать тебя с собой в Америку, и у меня уже есть билеты на пароход для нас обоих и достаточно денег на проезд по железной дороге и необходимые расходы”.

“Тогда почему вы так бедно одеты? Продолжал Шпринце с неослабевающей яростью. “И почему у вас такой унылый вид? Разве такая внешность и осанка подобают богатому торговцу, каким вы себя называете?”

“Полагаю, я не очень разборчив в своей внешности, ” ответил Йерахмиэль. “и потом, я признаю, что в последнее время у меня были значительные неприятности и убытки в бизнесе, и это, возможно, придало мне озабоченный вид. Но почему это должно вас беспокоить? Я научился искусству преуспевать в Америке, и я не боюсь, что скоро смогу вернуть все, что потерял. Тем временем, пока я здесь. Я твой муж, и я прошу тебя приехать и создать свой дом со мной”.

- Ты мечулле, ” сказала Шпринце, и в каждой черточке ее взволнованного лица сквозило подозрение. “Я могу понять из того, что вы признаете, что потеряли все, что у вас было, и вы хотите, чтобы я разделил вашу бедность или, возможно, дал вам деньги, которые я скопил из того, что вы мне прислали! Я не буду этого делать! Я не хочу идти с тобой! Дай мне *Получить*. Я не хочу быть женой такого *Шлемиля*.”

Бледное лицо Йерахмиэля стало огненно-красным, когда он услышал эти резкие и бессердечные слова; но он снова попытался привести свою жену в лучшее расположение духа. “Принц, ” сказал он умоляющим тоном, который мог растопить каменное сердце, “это мое добро пожаловать домой? Заслужил ли я это от тебя? Разве я не был всегда верен тебе, даже когда был бедным *Шлемихлем* в этом городе, и разве я не отдавал тебе каждую заработанную копейку? Разве я не посылал вам много денег из Америки? Вы можете мне доверять. У меня все еще есть средства содержать мою жену, и поэтому я снова прошу вас поехать со мной в мой дом, как подобает хорошей и верной жене в Израиле”.

- Я поверю, что вы не мечулле, - сказал Шпринце тоном расчетливой проницательности, “если вы дадите мне тысячу рублей сейчас. Если ты сделаешь это, я пойду с тобой”.

“Этого я не сделаю”, - сказал Йерахмиэль, и мужской гнев взял верх над его обычной чрезвычайной мягкостью. “Мне не нужно покупать свою жену. Неужели ты совсем не любишь меня? Я прошу тебя поехать со мной, потому что я могу содержать тебя; и как жена ты не можешь просить большего”.

“Тогда я вижу, что ты *мехулле*, - ответил Шпринце, - и я не пойду. Разведись со мной, я говорю; *Получи*. Мне не нужны ни ты, ни твои деньги. Все, чего я хочу, - это *Получить*.”

Снова и снова Йерахмиэль взывал к лучшим качествам Шпринце. Это было бесполезно. Она настаивала на своем требовании, и ее нельзя было заставить изменить его. Видя, что ее решимость непоколебима и что ее единственным желанием было разойтись с ним, Ерахмиэль, хотя в соответствии с еврейским религиозным законом он мог бы отказаться дать согласие на желаемый развод и таким образом фактически расстроить любые другие матримониальные планы, которые мог бы вынашивать Шпринце, решил удовлетворить ее желания. “Я сделаю так, как ты просишь, жестокосердная инеблагодарная женщина, - сказал он, - ибо даже сейчас, когда ты обращаешься со мной так жестоко, я не желаю тебе зла. Но одну вещь я должен тебе сказать. Чтобы показать, что этот развод не соответствует моему желанию, я не буду оплачивать ни раввина, ни писца, ни какие-либо другие расходы. Какие бы расходы ни были, вы должны их покрыть. Таким образом, все узнают, что ты - та, кто стремится разорвать узы, связывавшие нас вместе все эти годы, но я удовлетворен тем, что ты остаешься моей законной женой”.

Шпринце охотно согласился на это; и, договорившись далее, что они встретятся завтра в доме раввина Израэля, духовного наставника еврейской общины города, они расстались, и Ерахмиэль покинул дом, не попрощавшись.

Велико было удивление реб Янкеле, хозяина гостиницы, когда Йерахмиэль, которому он помогал встречать на железнодорожной станции несколько часов назад, вошел в гостиницу и мрачно осведомился, можно ли его накормить и приютить на ночь. Он очень удивлялся, почему Йерахмиэль не остался в своем собственном доме в первую ночь после своего прибытия из далекой страны; но тот не стал ничего объяснять, а реб Янкеле не осмелился просить о чем-либо. Однако ему не нужно было долго оставаться в неведении. Не успел Ерахмиэль покинуть дом своей жены, как Шпринце бросился к ближайшей соседке и рассказал ей новость, добавив множество ужасных подробностей о отталкивающей внешности Ерахмиэля, его бедности и безнадёжности *Шлемихлигкейт*; добавив, однако, что, несмотря ни на что, она должна быть благодарна ему за его готовность дать ей развод, которого она так жаждала, и заверив ее (соседку) в своей невыразимой радости от перспективы наконец освободиться от неизлечимой болезни. *Шлемихль* и *Шлемаззальник*. У соседки, конечно, не было более насущной обязанности, чем накинуть на голову шаль и броситься сообщать своей ближайшей соседке новость, все еще свежую и горячую, о предстоящем разводе Йерахмиэля и Шпринце Сендоровиц. Таким образом, не прошло и двух часов, как вся *кехилла* Ново-Кайданска узнала эту новость. Реб Янкеле узнал, почему Йерахмиэль был его гостем; и даже рабби Израэлю на вечерней службе в синагоге сообщили о том, что его попросят выполнить завтра.

В девять утра следующего дня Йерахмиэль и Шпринце были в большой гостиной в доме раввина, которая служила ему кабинетом и куда направлялись все, у кого в Ново-Кайданске был религиозный вопрос, или нужно было совершить церемонию, или кто нуждался в духовном совете или руководстве любого рода. Шпринце былаярко одета и постоянно болтала с группой знакомых женщин, которые ее окружали. Она была в приподнятом настроении и время от

времени бросала презрительные взгляды на Йерахмиэля, который сидел угрюмый и рассеянный в углу и ни с кем не разговаривал. Кроме них, комната была переполнена самыми выдающимися членами конгрегации, привлеченными сюда исключительным интересом, который вызвал этот экстраординарный случай. Боковая дверь открылась, и на собрание воцарилась тишина, когда достопочтенный раввин Израэль в сопровождении двух раввинов-помощников и нескольких других лиц, которые должны были принять участие в торжественной церемонии объявления о разводе, вошли и заняли свои места, которые были зарезервированы для них, за длинными столами во главе зала. Затем *Шаммас* громким голосом спросил, есть ли среди присутствующих кто-нибудь, желающий проконсультироваться с Бет Дином по какому-либо вопросу. При этих словах Йерахмиэль встал и, обращаясь к рабби Израэлю, сказал: “Достопочтенный рабби, я желаю развестись со своей женой Шпринце, дочерью Моисея; и я прошу вас распорядиться о таком разводе в соответствии с законом Моисея и Израиля”.

“Я с прискорбием выслушиваю вашу просьбу”, - сказал раввин, в то время как выражение боли промелькнуло на его почтенном лице. - Ваша жена тоже желает, чтобы ваш брак был расторгнут?

Йерахмиэль склонил голову в знак согласия, и *Шаммас*, в ответ на движение руки раввина, громко позвал: “Шпринце, дочь Моисея, выйди вперед”. Шпринце так и сделала, и раввин задал ей вопрос, согласна ли она на расторжение своего брака с Ерахмиэлем, сыном Исаака, на что она ответила громким и отчетливым “Да”. Вызвав их обоих к себе, раввин обратился к ним с долгой и искренней просьбой отказаться от их намерения развестись. Он указал им, что, хотя святая Тора разрешает расторжение брака, который был осквернен грубым и отвратительным грехом или который стал совершенно невыносимым для одной или обеих сторон, и оставляет на их усмотрение решение о том, следует ли его расторгать; тем не менее, она не одобряет, а, напротив, сурово осуждает разрыв священных уз брака и что, по словам мудрецов, алтарь проливал слезы по мужу и жене, которые нарушили завет своей юности. Поэтому Он самым искренним образом умолял их примириться друг с другом и оставаться верными обещаниям, которые они когда-то дали друг другу. На эту трогательную мольбу они ничего не ответили. Йерахмиэль уставился в пол, его лицо попеременно то краснело, то пепельно-бледнело. Шпринце твердо посмотрела на раввина и отрицательно покачала головой. Видя, что его усилия по примирению были бесполезны, раввин затем объявил: “следовательно, должна иметь место передача *Получения*”.

Эти слова послужили сигналом к началу церемонии развода, которая теперь совершалась со всеми торжественными и впечатляющими формальностями, с которыми это делалось с незапамятных времен в Израиле. Раввин назначил опытного писца для составления акта о разводе, который должен быть составлен в строгом соответствии со многими мельчайшими правилами, пренебрежение или нарушение любого из которых сделало бы его недействительным. Он также назначил двух благочестивых и заслуживающих доверия людей, оба искусных в искусстве написания квадратным шрифтом на иврите, в качестве официальных свидетелей документа. Писец сел за свой стол и достал бумагу, гусиное перо и чернила, все они были специально приготовлены в соответствии с установленными правилами для этой цели. Теперь с ним заговорил Ерахмиэль, действовавший по указанию раввина, и велел ему написать заявление о разводе для своей жены Шпринце, дочери Моисея. В затаившей дыхание тишине писец приступил к написанию документа, который должен был разлучить две жизни, доселе соединенные. Написание длилось довольно долго; и за все это время не было слышно ни звука, кроме равномерного поскрипывания пера писца, поскольку строго запрещено издавать какой-

либо шум во время написания *Текста*, чтобы звук не потревожил *Соавтора* и не заставил его ошибиться в чем-то конкретном, что привело бы к необходимости переписывания документа. Наконец акт о разводе был составлен, и два свидетеля поставили свои подписи, написанные квадратным шрифтом на иврите, без какого-либо титула. Затем раввин назначил двух других религиозных деятелей с хорошей репутацией официальными свидетелями передачи *Получения*. Подозвав Шпринце, раввин велел ей открыть лицо, которое до сих пор во время разбирательства было закрыто тяжелой вуалью, и сказал ей торжественным тоном: “Шпринце, дочь Моисея, готова ли ты принять заявление о разводе со своим мужем, Ерахмиэлем, сыном Исаака?” Шпринце ответил твердым “Да”. Повернувшись к Йерахмиэлю, раввин спросил его, по-прежнему ли он хочет развестись со своей женой, на что Йерахмиэль ответил утвердительно. Снова повернувшись к женщине, раввин сказал строгим голосом: “Отдай мне свою *Кетубу*. Тебе это больше не понадобится”. На этой, самой страшной части церемонии развода, лицо Шпринце слегка побледнело; но она достала свое свидетельство о браке, которое взяла с собой специально для этой цели, и отдала раввину, который отложил его в сторону, чтобы уничтожить сразу же после завершения бракоразводного процесса. Затем раввин велел ей снять обручальное кольцо и протянуть руки, чтобы получить документ о разводе. Затем Ерахмиэль взял разводной документ, вложил его в протянутые руки Шпринце и сказал: “Вот, это твой разводной документ. Прими свой разводной документ, и по нему ты освобождаешься и разводишься со мной, и вольна вступить в законный брак с любым другим мужчиной”. Несколькими искренними словами раввина, указывающими на обязанность жить их отдельными жизнями в мире и праведности и избегать в будущем грехов, которые привели к этой печали, церемония была завершена.

Йерахмиэль и Шпринце больше не были мужем и женой. Сразу же по всей комнате поднялся шум разговоров. Возбуждение, которое так долго подавлялось, теперь разорвало оковы вынужденного молчания и нашло облегчение в громких восклицаниях изумления и выразительных выражениях одобрения и неодобрения. Некоторые женщины поздравляли Шпринце, другие держались в стороне. Мужчины были единодушны в своем осуждении жестокосердной женщины, которая годами забирала деньги своего мужа, а затем, когда он обнищал, вынудила его дать ей развод.

Возбуждение достигло своего апогея, когда внезапно оглушительный стук по столу привлек испуганные взгляды всех присутствующих к тому месту, откуда донесся звук. То, что они увидели, заставило собравшихся замолчать. Йерахмиэль стоял сбоку от одного из столов, его щеки были пепельно-бледными, глаза горели яростным огнем, которого никто никогда раньше в них не видел, и яростно стучал тростью, пытаясь добиться тишины. Как только послышался его голос, он начал говорить.

“Еврейские братья и сестры Ново-Кайданска”, - сказал он с трудом, но отчетливо выговаривая слова. “Вы пришли сюда, чтобы увидеть, как *Шлемиль* Ерахмиэль дает развод своей жене Шпринце. Я знаю, что большинство из вас хорошие люди и жалели меня за то, что я был таким *Шлемилом*, что не смог сохранить ни свои деньги, ни свою жену. Но, возможно, я все-таки не такой *Шлемиль*. Я не желал и не добивался этого развода, но я пытался выяснить правду о старой ошибке и исправить ее; и я верю, что мне это удалось, как и некоторым, кого считают мудрее и сообразительнее меня. *Каким бы я ни был Шлемилом*, я всегда старался выполнять свой долг по отношению к моей жене. Еще до того, как я уехал в Америку, когда бедность и убожество были моим уделом в этом городе, я отдавал Шпринцу каждую заработанную копейку.

Из Америки, где Бог благословил меня и сделал процветающим, я регулярно посылал ей все, в чем она могла должным образом нуждаться. Но взамен этого я просил любви жены. Я знал, что муж должен уважать, лелеять и содержать свою жену; и что жена в настоящем браке должна отвечать любовью на любовь, привязанностью на привязанность. Шпринце никогда не проявлял ко мне ни малейшего признака любви. Моя душа алкала любви. Шпринце обрушивал на меня, в худшем случае, горькие поношения, уколы языком, которые пронзали мою душу, как удары меча; в лучшем случае - холодное безразличие. Вначале, когда я не мог из-за бедности должным образом содержать ее, я простил ее. Я сказал себе, что не заслуживаю ничего лучшего. Но когда из Америки я прислал в изобилии золото и любящие слова и всячески показывал, что я настоящий и любящий муж, и когда в ответ на все это я не смог получить ни ласкового слова, ни любящего предложения, я решил, что выясню, жила ли в сердце Шпринце искра любви ко мне, или она любила только мое золото. Остальное вы знаете. Я пришел сюда в поношенной одежде, выглядя как старый *Шлемиль*. Ее злое сердце заставило ее быстро прийти к выводу, что я потерял все, и, не расспрашивая меня и не предлагая, как настоящая жена, разделить мою участь, она потребовала развода. Я видел, что она не любила меня, что она никогда не была для меня больше, чем номинальной женой, и сегодня я исполнил ее желание. Но позвольте мне заверить ее и вас, друзья, что она ошибается, думая, что теперь она избавилась от *Шлемилля*, от бедного, никогда не преуспевающего неудачника. Она освободилась от успешного, состоятельного мужчины; она лишила себя великолепного дома в величайшем городе свободной Америки; она лишила себя роскоши и богатства и, более того, любви мужчины, который был глубоко привязан к ней и который отдал бы все за доброе слово или любящий поцелуй с ее губ. Видишь, вот подарки, которые я привез сюда для нее и подарил бы ей, если бы она относилась ко мне должным образом. С этими словами он достал великолепное бриллиантовое ожерелье и красивые, богато украшенные золотые часы на цепочке. “А вот доказательство того, что я человек состоятельный и не обманщик — аккредитив на берлинский банкирский дом на десять тысячмарок”, — и тут он достал из бумажника драгоценный документ и торжествующе, но и печально помахал им перед глазами своих слушателей. “Что касается меня,” продолжал он, - я благодарю Всемилоственного за то, что Он открыл мне глаза на истину и что Он освободил меня от змеи, которая хотела только пожрать мое естество и своим ледяным прикосновением заморозила мое сердце. А теперь прощайте, друзья, и прощай, лживая и бессердечная женщина. Я отправляюсь в свой дом за морем, где постараюсь забыть этот долгий, печальный сон о неуместной любви, жестокой неблагодарности и бессердечии”.

Сказав это, он повернулся и вышел из комнаты. Никто не осмелился задержать его или воспрепятствовать его уходу. Когда он выходил за дверь, Шпринце, которая с напряженным вниманием прислушивалась к его словам и чье лицо попеременно краснело и бледнело по мере того, как он говорил, бросилась вперед, как будто хотела удержать его, затем остановилась, издала пронзительный, душераздирающий крик и упала в смертельном обмороке на пол. Крик достиг ушей Йерахмиэля, когда он шагал по пыльной улице. Выражение боли исказило его черты, когда он услышал это, но он не обернулся и не вернулся.

ЖЕРТВА ПРЕДРАССУДКОВ.

Франц Фридрих Леви сидел на высоком табурете перед своим письменным столом в кабинете Второго секретариата государственной железной дороги Ангальт-Диестербург-Рикерсхофен и недовольно размышлял о своей участи. Правда, он занимал довольно важную должность главного бухгалтера Второго секретариата, важного подразделения в управлении железной дороги, которая была процветающим правительственным учреждением, связывавшим воедино богатый и красивый участок страны в средней Германии. Он получал очень приличное жалование, жил в комфортабельном доме на окраине города и был женат на довольно симпатичной жене с изрядным запасом модных, хотя и бесполезных достижений, но все равно не был счастлив. Причиной его несчастья была обида, которую он питал к обер-дирекции или высшему руководству железной дороги, обида, которой, по его мнению, — и его жена соглашалась с ним в этом мнении — могло быть только одно объяснение. Он считал, что его продвижение по службе шло неоправданно медленно. Он поступил на службу на железную дорогу на двадцатом году жизни в качестве клерка, и теперь, в сорок пятом, когда в его некогда черных, как вороново крыло, кудрях уже густо пробивалась седина, а на макушке проступало больше, чем подозрение на облысение, он был всего лишь главным бухгалтером одного из многочисленных подразделений великого концерна. Он считал, что по выслуге лет и способностям он подходил на должность генерального менеджера дороги; но, признавая, что у него не было права претендовать на эту высокую должность, он считал, что к этому времени он должен был достичь, по крайней мере, должности начальника отдела или суперинтенданта.

“Почему я не продвигаюсь вперед?” спросил он себя, мрачно вертясь на высоком табурете. “Неужели я неспособен?” Был ли я праздным, небрежным или невнимательным к своим обязанностям? Разве я не знаю всех деталей бизнеса от начала до конца? Разве я не знаю наизусть всю дорожную статистику, количество пассажиров и вес перевезенных грузов, состояние каждой станции, поступления и расходы до пфеннига? Нет, это не моя вина. Это из-за *ишу*, из-за антисемитских предрассудков. Насколько я могу судить, моя единственная вина в том, что я еврей. Этому я обязан всем своим несчастьям. Эта проклятая случайность моего рождения мешает оценить мои таланты, мешает мне достичь успеха, которого я должен достичь естественным образом; и, я полагаю, до тех пор, пока я отмечен этим знаком позора и социальной неполноценности, я всегда буду оставаться неважной, незначительной личностью. Этот обер-директор фон Майнкен, я уверен, он является главной причиной того, что я не могу работать. Он всегда смотрит на меня таким мрачным, недружелюбным взглядом, когда мне приходится входить в его кабинет. Он очень похож на *Рошо*, хотя говорит достаточно гладко. Я не сомневаюсь, что он был бы рад совсем избавиться от меня, если бы только знал, как этого добиться.

“Ага, друг Леви, почему ты погрузился в такие глубокие раздумья?” - внезапно раздался глубокий, сердечный голос рядом с ним. “Я стою здесь целую минуту, а вы даже не заметили моего присутствия, настолько вы были поглощены своими размышлениями. Если бы я не знал, что вы женатый человек с добродетельными принципами, я бы сказал, что вы влюблены. Но тогда выражение вашего лица показывает, что вы не видели сладких снов о любовных утехх. Если я хоть немного разбираюсь в физиономии, твои мысли были неприятными. Могу я спросить, что это были за мысли?”

Леви обернулся, испуганно дернув высокий табурет. Это был сам герр обер-директор, барон Адальберт фон Майнкен, с добродушной улыбкой на широком, красивом тевтонском лице, нижнюю часть которого покрывала аккуратно подстриженная густая каштановая борода. Леви виновато покраснел. Ему показалось, что пронизательные голубые глаза его начальника заглядывают в самую его душу и читают мысли, которые только что занимали его. Он пробормотал что-то вроде извинения.

“Герр обер-директор простит мою рассеянность, - сказал он, - но я могу заверить вас, что я не думал ни о чем постороннем. Я никогда не позволяю себе думать о посторонних вещах в рабочее время. Я думал о способе сокращения расходов станции Вайценхофен на ветке Блауберг-Шенталь. Это место стоит намного больше, чем следовало бы, учитывая небольшой объем выполняемых на тот момент работ, и я надеюсь, что вскоре смогу представить вашему превосходительству проект, который существенно снизит расходы на содержание станции”.

“Ах, ” сказал обер-директор с довольным выражением лица, - я мог бы догадаться, что вы, Леви, не тратите время своего работодателя на праздные размышления. Вы всегда были верным, трудолюбивым работником, преданным сердцем и душой интересам дороги. Я буду рад получить ваше предложение по делу Вайценхофена и всесторонне рассмотрю его”.

И обер-директор прошел дальше и вошел в свой личный кабинет. Леви склонился над своими книгами, как только его шеф ушел, и был осторожен, чтобы не впасть в очередной приступ размышлений в тот день. Слова обер-директора понравились ему, но он не совсем им доверял. Он опасался, что находится под пристальным наблюдением и что все его действия тщательно проверяются с целью найти какой-нибудь изъян в его поведении. Поэтому он с удвоенным усердием посвятил себя своей рутинной работе до тех пор, пока долгожданный звук колокола, возвещающий о закрытии, не освободил его от дальнейшей работы в течение дня. Он надел шляпу, сменил легкий офисный пиджак на уличное пальто и, любезно попрощавшись со своими коллегами-клерками, вышел на улицу. Когда он прогуливался по красивой Кайзерштрассе, лучшей улице города, по которой он всегда ходил как во время своих ежедневных поездок на работу и обратно, так и во время воскресных и праздничных прогулок, его приветствовало так много друзей и знакомых, что его рука постоянно приподнимала шляпу в ответ на их приветствия. Равные ему по положению, как христиане, так и евреи, приветствовали его с непринужденной сердечностью, а более скромные знакомые - с большим почтением. Эти проявления дружбы и уважения, вместо того чтобы доставить ему удовольствие, усилили его недовольство и неприязнь к железнодорожным властям. Он сказал себе, что это вопиющий позор, даже оскорбление, что человек, которого так широко уважают его соотечественники, должен оставаться в подчиненном положении из-за религиозных предрассудков своего начальства; и что такая причина, столь противоречащая культуре и цивилизации века, не позволяет ему достичь ранга и вознаграждения, на которые он явно имеет право. В таком расположении духа он добрался до своего красивого дома, очаровательно расположенного на Шенбергер-аллее, новой и фешенебельной улице в пригороде города. На бурные приветствия своей закадычной супруги фрау Оттилии, урожденной Кан, он ответил отрывисто и с выражением крайнего отвращения и усталости плюхнулся на диван.

Фрау Оттилия Леви была достойной копией своего спутника жизни. Если гармония в браке обеспечивается сходством вкусов и склонностей, то их брак должен был стать идеальным союзом, поскольку их характеры и взгляды были почти совершенно одинаковы. Как и ее муж,

фрау Леви была чрезвычайно амбициозна. Ее единственной целью в жизни было обеспечить себе как можно большее богатство и социальный престиж. Она в полной мере разделяла недовольство своего мужа; но, как женщина, она была склонна возлагать вину на него за его неспособность продвинуться по службе и постоянно придиралась к нему со своими жалобами и выражением своего недовольства тем, что не может блистать так же, как фрау Геймратин Такая-то или фрау Коммерциенратин Кто-то другой. Видя смятение, в котором явно пребывал ее муж, ее женский инстинкт подсказал ей, что сейчас не время придирается и ругать, а сочувствовать и утешать. Поэтому она отказалась или, скорее, отложила до более благоприятной возможности едкую лекцию в сочетании с требованием большего пособия, которое она готовила весь день специально для своего спутника жизни, и начала с большой заботой расспрашивать о причине его беспокойного состояния.

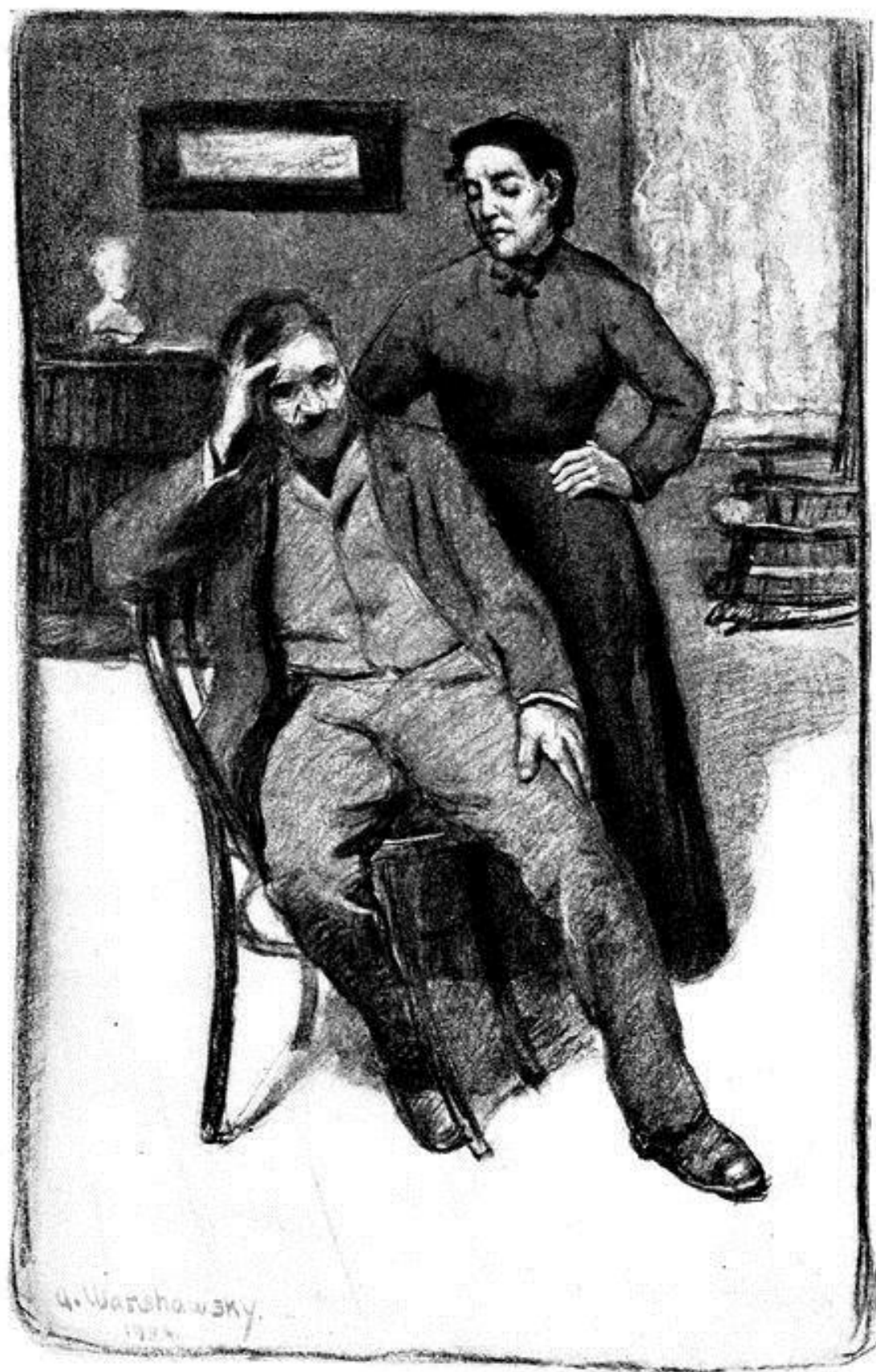
- Что случилось, Франц, дорогой? - спросила она тем же тоном подкупающей мягкости, которым недавно так восхищалась в знаменитой сценической героине Адель де Помпадур в исполнении мадам Гретцингер, знаменитой *первой леди* театра "Штадт". "Почему ты так расстроен? Я надеюсь, что ничего серьезного не произошло".

- И да, и нет, - уныло ответил Франц. - Этот старый фон Мейнкен застал меня сегодня, когда я размышлял о постыдной медлительности моего продвижения по службе, или, вернее, об отсутствии какого-либо продвижения, и пренебрегал своей работой. Я был так погружен в свои мысли, что не заметил его, хотя, как он мне сказал, он простоял у моего стола больше минуты. Конечно, я в спешке придумал ему самое веское оправдание своей рассеянности, какое только мог придумать; но как я могу сказать, поверил ли старый лис в то, что я сказал, или нет? Черт бы его побрал, он всегда оказывается поблизости, когда в нем нет необходимости. Можешь положиться на то, что я очень усердно работал весь остаток дня".

"Ты же не думаешь, что это может тебе повредить?" спросила Оттилия, отбросив театральные манеры и с легкой ноткой беспокойства в голосе. "Что плохого, если такой старый, заслуживающий доверия сотрудник, как вы, будет бездельничать минуту или две в день?"

"Это не должно было причинить никакого вреда", - ответил Франц. "Но вы же знаете, насколько суровы и требовательны эти прусские чиновники. Они думают, что люди - это не что иное, как машины, и ни на что не делают скидок. В последнее время несколько человек были уволены, и потом, вы знаете, в наши дни так много антисемитизма. Я, как еврей, должен быть особенно осторожен".

"Вот в чем корень всего вопроса", - сказала фрау Оттилия, с жадностью ухватившись за свой любимый аргумент. "Только потому, что ты еврей, у тебя возникают какие-то проблемы. Только не говорите мне, что такой опытный, верующий чиновник, как вы, если бы он был христианином, дрожал бы от страха потерять свое место, потому что он на минуту или две задумался о чем-то. В его случае такая тривиальная вещь не имела бы никакого значения. Только мы, евреи, должны быть постоянно встревожены, постоянно начеку, чтобы не совершить ни малейшей ошибки; потому что в нашем случае любая ошибка, иногда даже только мнимая, означает гибель. Да, Гейне был прав, когда сказал: "Иудаизм - это не религия, это несчастье". Это, безусловно, ваше несчастье, а следовательно, и мое. Пока вы еврей, вы никогда не продвинетесь вперед. Вы могли бы с таким же успехом попытаться перепрыгнуть через луну, как преодолеть глубоко укоренившиеся предубеждения христиан против евреев. Ты просто не можешь этого сделать".



“ Но, моя дорогая, ” сказал Леви, который очень часто слышал подобные разговоры и уже порядком устал от них, “ какой смысл повторять мне все это снова и снова? Я знаю так же хорошо, как и вы, что то, что я еврей, является главным препятствием для моего прогресса. Но что толку постоянно твердить об этом. Я не могу изменить то, что я есть; так зачем же напрасно биться о неизменное?”

“ Но это не без изменений, ” сказала фрау Оттилия с еще большей резкостью, чем обычно вызывало чувство ее старой и остро переживаемой обиды. “ Ты говоришь так, как будто быть евреем - это то же самое, что быть негром, или китайцем, или слепым, или хромым. Негр не может сделать свою черную кожу белой, а китаец - своим цветом лица или чертами лица походить на кавказца; ни слепой, ни хромой не могут изменить свои физические уродства. Но еврею достаточно произнести бессмысленную формулу и позволить капнуть на себя три капли воды, и вуаля, он меняется, он перестает быть евреем и становится христианином. Все его прежние пороки забыты, и его с распростертыми объятиями принимают в христианское общество. Вместо того, чтобы быть изгоем и парией, человеком, которого едва и неохотно терпят, он становится любимым братом. Тогда зачем глупо подчиняться грузу унаследованных, ненужных проблем? Почему бы вместо этого не сделать один смелый шаг, который покончит со всеми ними сразу и навсегда?”

“ Но, моя дорогая Оттилия, ” сказал Франц, который, хотя и привык к подобной аргументации, был удивлен необычной горечью своей жены. “Какова цель всего этого? Ты же не хочешь, чтобы я крестился, чтобы стать *мешуммадом*, не так ли?”

“ Это как раз то, чего я действительно хочу, ” горячо возразила Оттилия. “Я хочу, чтобы ты перестал быть глупым мучеником и начал быть разумным, и я тоже хочу быть разумным с тобой. Я не боюсь *словамешуммад*. Это всего лишь безобидный термин, который глупые и фанатичные евреи используют, чтобы осуждать людей, которые более разумны, чем они. Крещение вам не повредит. Это всего лишь ключ, который откроет перед вами врата процветания и счастья в жизни. Кроме того, если вы честно заглянете в свое сердце, вы не еврей. Еврей должен иметь веру, должен верить в иудаизм и практиковать множество бессмысленных церемоний. Вас несколько не волнует вся еврейская религия в целом, вы не забиваете себе голову ни Шаббатом, ни диетическими законами, ни любой другой нелепостью, которую в иудаизме называют религиозной практикой. Я не верю, что ты была в синагоге десять лет назад. Я так же мало похожа на еврейку, как ты на еврейку. И все же, сохраняя имя еврея, без какой-либо реальной причины, кроме слепого цепляния сами не знаете за что, вы подвергаете себя, меня и нашего единственного сына всем неприятностям и неудобствам, которые возникают из-за связи с презируемым и ненавидимым народом. И снова я говорю, будьте благоразумны. Заплатите цену за вступление в цивилизованное общество, то есть примите крещение и покончите с этим ”.

Так рассуждала Оттилия и умоляла своего мужа отречься от веры его предков. Спор, начатый таким образом всерьез, длился долго и велся с большой серьезностью с обеих сторон. Мысль о принятии христианства была для Франца не нова. Постоянное изучение этой темы его женой сделало ее для него привычной, но он еще никогда всерьез не обдумывал этот шаг. Память о

благочестивых родителей, о религиозном рвении и набожности юности, хотя и давно отброшенная, имела достаточную силу, чтобы сделать мысль об отступничестве совершенно отвратительной и помешать серьезному рассмотрению ее. Но натура Оттилии была сильнее его; у нее был властный характер, у него - подчиненный. Еще до того, как вечер закончился, ее настойчивость и ловкие рассуждения преодолели его слабое и нелогичное сопротивление. Они разошлись на ночь, договорившись, что завтра Франц сообщит герру обер-директору фон Майнкену о своей решимости искать спасения в объятиях церкви и попросит герра обер-директора выступить в роли его крестного отца при торжественном обряде крещения.

На следующее утро Франц проснулся в состоянии сильного возбуждения. Теперь, когда он принял решение, он был полностью доволен и немного удивлялся, как ему вообще удалось прожить столько лет с ужасным бременем иудаизма, лежащим на нем, мешающим его прогрессу, который он теперь представлял себе быстрым и непрерывным, ведущим его со ступени на ступень к высшему званию в его профессии. Оттилия ликовала еще больше, чем ее муж. Она радовалась, что ее влияние на мужа было настолько велико, что побудило его сделать столь важный и решительный шаг, и особенно радовалась, когда думала, как величественно она войдет в *салоны* своих выдающихся знакомых, уже не просто терпимой еврейкой, но равной им всем и единоверкой. С особым восторгом она представляла себе, как торжественно войдет в прекрасную церковь, расположенную всего в двух кварталах от их дома, такую святую и такую модную; и какую сенсацию она произведет своим благоговейным поведением и своими парижскими нарядами!

Как только Франц вошел в офис, он спросил, прибыл ли герр директор. Как он и ожидал, герр директор еще не прибыл. Обычно он появлялся не раньше одиннадцати часов, и это утро не было исключением. Франц с большим нетерпением ждал прибытия великого человека. Он подумал, что с его стороны было довольно бесцеремонно так долго отсутствовать, когда он, Франц Фридрих Леви, хотел сделать ему столь важное заявление. Наконец, примерно на четверть часа позже обычного, явился герр обер-директор и сразу же направился в свой личный кабинет. Не пробыл он в своем святилище и пяти минут, как послышался несколько робкий стук в дверь, и после его низкого голоса "Сюда!" Вошел Франц. "А, это ты, Леви?" сказал герр фон Майнкен с приятной улыбкой. "Думаю, я могу догадаться о причине твоего утреннего звонка. Я полагаю, это связано с делом на станции Вайценхофен, о котором вы говорили на днях. Франц колебался. Теперь, когда наступил решающий момент, он немного усомнился в своей убежденности в духовной красоте и материальных преимуществах христианства и более чем наполовину обрадовался бы еще одной возможности поразмыслить над этим вопросом. Но только на мгновение.

"Нет, ваше превосходительство", - ответил он. "Не в связи с делом Вайценхофена я взял на себя смелость попросить вас о краткой беседе сегодня утром. Я все еще занят проработкой этого вопроса, но пока не готов сделать какое-либо определенное предложение по этому вопросу. Дело, которое привело меня к вашему превосходительству сегодня утром, носит исключительно личный характер, но имеет для меня высочайшую важность, и я надеюсь, что в связи с этим воспользуюсь добротой и вежливым сочувствием вашего превосходительства".

Брови герра фон Майнкена слегка приподнялись, а губы чуть сжались, когда он услышал эти слова. Он не ответил, но продолжал смотреть на Франца несколько холодным и недоверчивым взглядом человека, который ожидает, что к нему будут приставать с просьбой об одолжении, и

не чувствует склонности оказывать его. “Чего я желаю и почтительно просил бы, - продолжал Франц, - так это, чтобы ваше превосходительство любезно согласилось выступить в качестве крестного отца при моем крещении, и чтобы высокочтимая баронесса милостиво соизволила выступить в том же качестве в отношении моей жены. Я несомневаюсь, что вы несколько удивлены, ” добавил он, заметив выражение неподдельного изумления на лице герра обер-директора, - этой просьбой, но дело в том, что мы с женой обдумывали этот шаг в течение некоторого времени. Мы больше не разделяем ту веру, в которой родились. Мы пришли к пониманию того, что для незначительного, ретроградного меньшинства самонадеянно цепляться за религию, отличную от религии огромного, культурного большинства. Все наши вкусы и взгляды находятся в тесном согласии с вкусами христиан этой страны. Одним словом, мы чувствуем, что наше место в церкви, а не в синагоге, и поэтому мы, наконец, решили искать наш истинный духовный дом, церковь, и с глубочайшим уважением просим ваше Превосходительство и достойную супругу вашего Превосходительства любезно помочь в торжественном обряде, который соединяет нас с нашими согражданами в тесном религиозном братстве, как мы всегда были соединены с ними в братстве патриотизма и любви к отечеству ”.

Герр обер-директор был удивлен. В этом не могло быть сомнений. Выражение его лица ясно говорило об этом. Но на его лице отразилась и другая эмоция менее определенной природы. Это было что-то вроде веселья; но нельзя было быть уверенным, потому что он не объяснил этого. Он ответил Францу очень любезно, поздравил его с решением, которое в равной степени делает честь его уму и сердцу, заверил его, что истинное единство граждан может быть достигнуто только в их приверженности общей вере, и в заключение самым добрым и снисходительным образом принял на себя и фрау Баронин почетные функции крестного отца и матери Франца и Оттилии.

Взволнованный и сбивый с толку необычайной вежливостью герра обер-директора и переполненный счастьем, Франц удалился из августейшего присутствия. Крещение состоялось со всеми подобающими формальностями примерно через неделю. Пастор Беккер, служитель фешенебельной церкви Эрлезер, которой Оттилия так восхищалась, был более чем доволен разумной и скромной манерой, с которой Франц и Оттилия подали прошение о крещении, и не видел причин отказывать им в просьбе о скорейшем проведении церемонии. На самом обряде, который происходил в присутствии небольшой, но избранной группы знакомых христиан, Франц и Оттилия вели себя с должным смирением и благоговением; герр обер-директор и его супруга исполняли свои роли с совершенным достоинством и торжественностью, в то время как герр пастор необычной внушительностью своего обращения показал, что считает этот акт исключительно важным. После церемонии был устроен очаровательный маленький ужин в отдельном номере отеля zum Blauen Adler. Никогда прежде герр обер-директор не проявлял себя таким приветливым. Он пожелал здоровья их новоиспеченным брату и сестре-христианам в самых теплых и красноречивых выражениях, в словах искренней признательности упомянул многолетнюю полезную службу Франца на государственной железной дороге Ангальт-Эстербург-Рикерсхофен, предсказал ему еще более выдающуюся карьеру в будущем и завершил, протянув ему, конечно, метафорически, руку дружбы и братства. Что касается фрау Баронин, то она была так очаровательна, как только могла, с Оттилией, чьей соседкой справа за столом она была. Наши новоиспеченные христиане были тронуты до глубины души всей добротой и сочувствием, которые были им проявлены, и с трудом удержались от открытого проявления своей радости. Когда восхитительный пир закончился и Франц и Оттилия добрались до своего дома, они дали полный выход своему ликованию.

“Теперь, Франц, - сказала Оттилия, - ты видишь, что значит быть причисленным к христианам. Какое радушие, какую искреннюю дружбу они все проявили к нам! Вы заметили, как чрезвычайно вежлива была со мной фрау Баронин? Она никогда не обращала на меня большего внимания, чем просто формальный поклон. Но тогда я была всего лишь еврейкой, в то время как теперь я принадлежу к ее собственной вере; вот в чем разница. Надеюсь, теперь, Франц, ты понимаешь, как сильно ты мне обязан за то, что я убедил тебя согласиться на этот шаг, который так много значит для нас обоих. Ах, я содрогаюсь, когда думаю о том времени, когда я был причислен к презираемым, жалким евреям. Церковь, в которой мы были крещены, по праву называется Erlöser Kirche, ибо она избавила нас обоих от рабства иудаизма”.

“Ты права, Оттилия”, - ответил Франц, его лицо сияло от восторга. “Это был великий день для нас. Сейчас у меня нет сомнений, что я быстро продвинулся вперед. Вы заметили, как герр директор высоко оценил мои заслуги перед железной дорогой и предсказал мне блестящее будущее? Это то, что они называют намеком с помощью перил для забора; что с этого момента я должен продвигаться вперед. Единственным препятствием на моем пути был мой иудаизм; и теперь, когда этот ненавистный камень преткновения устранен, нет причин, по которым я не должен быстро продвигаться вперед в своей карьере”.

В такой назидательной и по-настоящему духовной манере наша достойная пара обсуждала преимущества христианства до позднего часа, когда они удалились грезить сладкими грезами о грядущих финансовых благах и социальных радостях. На следующее утро, ясное и раннее, Франц был на своем посту вконторе железной дороги. Он чувствовал, что на нем лежит, так сказать, обязанность показать, что он не позволяет себе никаких вольностей из-за своего нового религиозного статуса, но что он по-прежнему намерен заслужить продвижение по службе добросовестным исполнением долга. Примерно в обычное время появился герр обер-директор и, дружески кивнув Францу, удалился в свой личный кабинет. Когда его высокая фигура проходила через дверь, Франц размышлял о том, как скоро через эту дверь поступит приветственное сообщение, извещающее о его назначении на следующий более высокий пост. Он не ожидал, что это может произойти очень скоро, и когда полчаса спустя специальный посыльный герра обер-директора подошел к его столу и положил на него огромный конверт, адресованный ему и снабженный официальной печатью железной дороги, он был очень удивлен. “Так скоро”, - сказал он себе, когда дрожащими руками и с трепещущим сердцем разорвал зловещее послание. “Это гораздо быстрее, чем я мог ожидать. Как обрадуется Оттилия, когда я уже сегодня сообщу ей приятную новость о моем назначении. Интересно, на какую должность меня выбрали?” Он торопливо прочел; и когда до него дошло содержание послания, его взгляд стал пристальным, дыхание стало прерывистым, весь румянец сбежал с его щек, и они стали пепельно-бледными. Вот что он прочитал:

Государственная железная дорога Ангальт-Диэстербург-Рикерсхофен,

“Административное бюро.

*“Герру Францу Фридриху, Главному бухгалтеру
второго секретариата.*

“Уважаемый сэр, С сожалением сообщаем вам, что после окончания текущей недели ваши услуги больше не потребуются. Благодаря вас за ваши добросовестные усилия в прошлом и искренне сожалея о необходимости отказаться от ваших услуг в будущем, мы остаемся,

“Искренне ваш,

“Главное Направление,

- Шмидт, *с тобой.*”

Целую минуту Франц сидел как окаменевший, уставившись на короткую официальную записку, в которой объявлялся конец всем его надеждам и амбициям, едва ли в состоянии осознать ее значение. Затем ему в голову пришло внезапное решение. Он предстанет перед герром обер-директором; он потребует объяснить смысл этого совершенно необъяснимого и возмутительного поступка; он упрекнет его в лицемерных заверениях в дружбе на вчерашнем празднике; он пристыдит его, чтобы заставить продолжать свои услуги. Он поднялся со своего места, подошел к двери личного кабинета обер-директора и постучал. Послышалось низкое “Здесь!” - и его шеф вошел. Герр обер-директор сидел за своим столом и с серьезным видом посмотрел на вошедшего Франца.

“Ваше превосходительство, ” сказал Франц почти сдавленным от волнения голосом, показывая роковое письмо, - я только что получил это сообщение, в котором сообщается о моем увольнении. Это верно? Я действительно уволен с дороги после более чем двадцатипятилетней службы? Герр обер-директор поклонился в подтверждение. “Ваше превосходительство, простите меня, - продолжал Франц, “ если я спрошу вас, справедливо ли это? Разве я не всегда добросовестно исполнял свой долг? Разве я не полностью знаком со всеми требованиями моего положения? Я полагаю, что эти причины оправдали бы вас, если бы вы сохранили меня.

“То, что вы говорите, верно, герр Леви, - ответил обер-директор, - и я крайне сожалею, что вынужден отказаться от ваших услуг; но дело в том, что бизнес дороги пришел в упадок, и это не дает нам права нанимать столько чиновников. Правительство настаивает на том, что я должен сократить расходы. Поэтому я вынужден полностью упразднить второй секретариат; и поскольку ваша должность, таким образом, прекращает свое существование, у вас нет другого выбора, кроме как уйти”.

“ Ваше превосходительство еще раз простите меня, - сказал Франц с возрастающим волнением, - если я скажу, что это действие особенно жестоко как раз в то время, когда я присоединился к вашей вере и был посвящен в лоно церкви под вашим добрым покровительством. Кажется, по меньшей мере, странным, что все эти годы, когда я был евреем, меня держали на службе, и ни одна жалоба или намек на возможное увольнение никогда не достигали моих ушей; а теперь, когда я стал христианином, вы сразу же обнаруживаете, что в моих услугах нет необходимости, и я без промедления уволен ”.

“Именно по этой причине, как это ни странно, - сказал герр обер-директор. “ Видите ли, мы уже подумывали о том, чтобы уволить вас некоторое время назад, поскольку потребность в ваших услугах действительно отпала. Но в настоящее время так много разговоров об официальном антисемитизме, об антиеврейских предрассудках со стороны правительства, что мы не решались уволить вас, поскольку вы были евреем и проработали много лет. Мы знали, что если бы вас уволили, это немедленно послужило бы основанием для обвинений в антисемитских тенденциях со стороны правительства; и поскольку правительство не имеет таких тенденций и не желает, чтобы считалось, что у него они есть, мы сочли себя обязанными сохранить вас. Но теперь, когда выхристианин и член Государственной церкви, подобные обвинения в антисемитизме не могут быть выдвинуты, и поэтому мы сочли себя вправе отказаться от ваших

услуг, которые, как я уже сказал, действительно стали излишними. А теперь позвольте мне завершить это интервью, отнимающее много времени и бесполезное, и пожелать вам очень хорошего дня”.

Выходя из кабинета обер-директора, Франц мрачно сказал себе: “Я думаю, Оттилии придется пересмотреть свою любимую цитату из Гейне. Насколько нам известно, несчастьем был не иудаизм, а христианство”.

ИГРА РАВВИНА В КАРТЫ.

“Рабби, почему ты не приходишь ужинать? Все портится, и если ты не придешь в ближайшее время, твоя еда будет непригодна для употребления”.

Это был голос ребецинки, или жены раввина из Галошина, что в провинции Познань; и она пыталась убедить своего господина и наставника, раввина Акибу Эртера, покинуть свое святилище, где он весь день был занят решением глубоких интеллектуальных проблем, и обратить его внимание на менее идеальную, но не менее необходимую задачу - поужинать вечером. Не было ничего необычного в том, что добрый раввин был настолько поглощен своими занятиями, что совершенно забывал обо всех других делах и совершенно не обращал внимания на такие незначительные мелочи, как приглашение к трапезе. Раввин Акиба был благородным образцом раввина старого времени. Он был ученым-талмудистом, обладавшим необычайной эрудицией и диалектическим чутьем, пиетистом, строго соблюдавшим предписания, и до крайности милосердным. Из трех элементов, составляющих идеального мужчину, - головы, сердца и души - трудно было сказать, каким он был более щедро наделен. Что бы он ни делал, он делал изо всех сил. Когда он был занят учебой, его поглощенность была абсолютной, а концентрация - полной; когда он поклонялся, все его существо изливалось перед своим Создателем; и когда он совершал акт милосердия, у него не было других мыслей в голове, пока он не был завершен.

Проблема, которая привлекла его внимание в этом конкретном случае, относилась к последней упомянутой категории и была гораздо более запутанной, чем самая запутанная церемониальная, юридическая или теологическая загадка, которую ему когда-либо приходилось решать. Это было так хлопотно и так сильно беспокоило доброго раввина, что он являл собой настоящую картину отчаяния, когда сидел перед своим рабочим столом, на котором в живописном беспорядке громоздились огромные раввинские фолианты, одни открытые, другие закрытые, его черная черепная коробка была сдвинута далеко на затылок, а волосы и длинная почтенная борода печально взъерошены и нахмурены от постоянного дергания, которое он производил в течение последних трех часов, в то время как его длинные волосы были по той же причине вялыми и растрепанными. Настало время ужина, но проблема, по-видимому, была так же далека от решения, как и всегда, потому что служанка в доме звала его четыре или пять раз на ужин, а он не отвечал или даже, казалось, не замечал вызова; и только когда появилась сама ребецин, он, казалось, осознал, что его позвали, и ответил рассеянно: “Да, жена, я приду немедленно, немедленно”. Нетерпеливо бормоча что-то себепод нос, ребецин вернулась в столовую; и раввин, поднявшись со своего места,

направился туда же, по его лицу было ясно видно по его рассеянному и поглощенному выражению, что та же проблема, которая беспокоила его весь день, все еще занимала его мысли.

Рабби Акиба обычно был очень приятным собеседником за столом. У него была привычка рассказывать забавные анекдоты и отпускать остроумные замечания во время трапезы, и это было его неизменным обычаем - учено рассуждать на какую-нибудь тему закона перед произнесением благословения пищи, чтобы выполнить раввинскую заповедь "человек всегда должен произносить слова закона за своим столом"; но сегодня вечером он действительно был плохой компанией. Он ел механически, не разбирая ничего, что подавалось под руку, хотя его обычной практикой было есть довольно экономно и только те блюда, которые были его любимыми. Он положил нюхательный табак в молочный суп и посолил нос и съел бы суп с примесью нюхательного табака, если бы Ребекка не указала на ошибку.

На замечания, адресованные ему его лучшей половиной, он отвечал лишь бессвязно. Одним словом, он был в состоянии рассеянности и растерянности, которые были хорошо видны всем, так что это заметили не только его супруга и три хорошенькие черноглазые дочери, Лия, Мириам и Таубе, но даже русский *Бочур* Хаим, которого раввин держал в своем доме из восхищения глубокой эрудицией последнего, который был на три четверти слеп и, как правило, совершенно не обращал внимания на все, что происходило в мире за пределами *Бет Хамидраш*, смутно осознавал, что его хозяин уже не тот, что в другие времена. Внезапно раввин сделал паузу, отпивая чашку чая, причем с такой внезапностью, что половина горячей жидкости попала "не в то горло"; и, хотя он отплевывался и кашлял, а лицо его было огненно-красным из-за повреждения трахеи, он сумел воскликнуть с торжествующим придыханием: "У меня получилось, у меня получилось".

"Что у тебя есть? - с некоторой язвительностью спросила Ребекка. "Насколько можно заметить, все, что у вас есть, - это приступ кашля, который не может принести вам никакой пользы. Надеюсь, то, что у вас есть, того стоит".

"Не бери в голову, жена", - сказал раввин с приятной улыбкой. "То, что у меня есть, действительно стоит того, чтобы потратить это время. Когда все будет готово, ты узнаешь, что это такое. А теперь давай закончим нашу трапезу, потому что я тороплюсь.

Затем раввин произнес краткую речь на религиозную тему, чтобы не отклоняться от своего обычая, и произнес благословение пищи, к которому присоединились все. "А теперь, моя добрая Ревекка, - сказал раввин, когда эти церемонии были завершены, - принеси мне мое пальто, мою субботнюю шляпу и мою трость, потому что мне нужно нанести определенный визит".

"Да что на тебя нашло?" изумленно спросила Ребекка. "Почему ты хочешь выйти на улицу ночью, хотя ты часто говорил мне, что ученики ученых не должны выходить ночью одни, и почему ты хочешь одеться по-субботнему? Вы наносите визит ко двору или во дворец знати? Боюсь, у вас не все в порядке.

"Не бойся, жена", - сказал раввин, который был теперь в отличном расположении духа. "Все в порядке. А теперь быстро собери мне мои вещи, потому что, как я уже сказал, я спешу.

Ребецинка была рада удовлетвориться этим не очень удовлетворительным ответом и принесла своему мужу его лучшую официальную мантию - большую, тяжелую атласную *юбицу* и его широкоую бархатную *шляпу "штреймель"*, или субботнюю шляпу. Облачившись в это и взяв вдобавок крепкую палку, раввин отважился выйти в ночь, которая, хотя час был еще не поздний, была уже, как обычно в этих северных краях, очень темной и довольно холодной.

Пока он находится на пути к своей цели, какой бы она ни была, давайте посмотрим, что же было в том, что так сильно беспокоило святого человека весь день и что привело его во тьму и суровость северной зимней ночи. В то утро к нему пришел Моше Лабишинер, один из постоянных прихожан синагоги и неизменный слушатель лекций раввина по талмуду в доме знаний, и поведал ему жалостливую историю своего горя. Это была не совсем история нищеты, но она тронула мягкое от природы сердце раввина, всегда открытое для любой просьбы о помощи и всегда готовое посочувствовать всем, кто страдал и скорбел, в особенно нежном и чувствительном месте. Моше сказал рабби Акибе, что его дочь Дебора (которую рабби Акиба знал как послушную и богобоязненную девушку и к тому же хорошенькую) была помолвлена с бедным, но очень достойным юношей, Самуилом Кемпенским, более двух лет; что двое молодых людей были горячо преданы друг другу и желали, как и родители собоих сторон, скрепить свою любовь священными узами брака, но благоразумие запрещало этот союз до тех пор, пока юноша не станет владельцем крупного бизнеса. его собственный, и способный должным образом содержать жену и семью. Он, Моше, в соответствии с неизменным обычаем во всех хороших еврейских семьях, пообещал своему будущему зятю приданое в тысячу гульденов, которого было бы вполне достаточно для открытия скромного бизнеса; но из-за различных несчастий и потерь он не смог накопить более двухсот гульденов, которых едва хватило бы на расходы по свадьбе, но ничего не осталось бы на приданое. Молодые люди должны были пожениться годом ранее; но поскольку у Моше не было необходимой суммы приданого, он постоянно откладывал свадьбу под разными предлогами, пока теперь откладывать ее больше было невозможно. Его бедная жена и дочь, *Каллах*, были в крайнем отчаянии и непрестанно плакали, в то время как его предполагаемый зять и *Мехуттаним*, которые ничего не знали о его финансовых затруднениях, начали проявлять подозрения и думать, что он был против этого брака и на самом деле не собирался допускать его завершения.

“А теперь, дорогой равви, - сказал Моше, “ помоги мне, умоляю тебя. Если я не смогу раздобыть тысячу гульденов в течение дня или двух, я не знаю, какое несчастье может случиться. Мои бедные жена и дочь наверняка умрут от разбитых сердец, а мое имя будет очернено навсегда”.

Рабби Акиба не был близко знаком с Моше. Все, что он знал о нем, это то, что он был “честным евреем”, хорошим, прямолинейным, религиозным человеком; но этого было достаточно, чтобы завоевать его симпатию, и особенно горе его жены и дочери тронуло его за живое. Он сразу же предложил пойти и собрать деньги на приданое среди богатых прихожан своей паствы; и добавил, что уверен, что не составит труда раздобыть требуемую сумму для молодой женщины с такой превосходной репутацией, которая была дочерью таких в высшей степени респектабельных и набожных родителей. Но здесь он столкнулся с неожиданной трудностью. Моше категорически возражал против любых публичных сборов в его пользу.

“Ты не должен ни словом обмолвиться обо всем этом ни одному живому существу, дорогой раввин”, - взмолился он. “Я никогда не мог смириться с мыслью, что весь Кехиллах узнает, что я был вынужден полагаться на благотворительные пожертвования добросердечных людей, чтобы

получить приданое для своей дочери. Я всегда был независимым, уважающим себя торговцем и сам обеспечивал все потребности своей семьи. Мне была невыносима мысль о том, чтобы выступать в роли *Шноррера* по какой бы то ни было причине. И потом, мои жена и дочь, неужели вы думаете, что они когда-нибудь приняли бы приданое, собранное таким образом из подношений из жалости? Они бы скорее умерли. Они даже не знают, что мои обстоятельства настолько стеснены. Простое сообщение о том, что от нашего имени запрашивались пожертвования, разрушило бы то счастье, которое у них есть. Нет, рабби, ты должен получить необходимую сумму каким-то другим способом, таким, который даже не вызовет подозрения, что нам помогают, иначе мне придется попросить тебя ничего не предпринимать и предоставить Всемилостивому поступать с нами так, как Он сочтет нужным”.

Эти слова, хотя и значительно усилили уважение, которое раввин испытывал к Моше, также усилили его недоумение. Казалось, они решительно закрывали дверь перед лицом любой попытки получить требуемую сумму. Сам рабби Акиба не был обладателем какой-либо значительной суммы денег. Его доход был невелик, и у него никогда не возникало никаких трудностей с распоряжением им, поскольку на его щедрость было много претендентов помимо его собственной семьи. Поэтому, если он не мог пойти к богатым домовладельцам в Кехилле и открыто попросить у них пожертвований, он не знал никакого источника, откуда он мог бы получить необходимую помощь. Не годилось бы просить у них в дар такую крупную сумму, не указав цели, для которой она должна была быть использована. Они могли бы отдать это ему, таково было их уважение к его характеру и их вера в чистоту его мотивов, но они были бы склонны строить догадки о том, на что он намеревался это потратить, и, весьма вероятно, они бы тоже узнали об этом, а это было бы прямо вопреки явному желанию и просьбе Моше, отсюда недоумение и душевная борьба, которыми бедный раввин мучился весь день, пока за ужином он не нашел, как ему казалось, решение досадной проблемы. Более простое решение, которое пришло бы в голову многим современным священнослужителям, - неодобрительно пожать плечами и вежливо сообщить просителю, что он крайне сожалеет о том, что в сложившихся обстоятельствах для него невозможно что-либо сделать, - не пришло в голову рабби Акибе. Он был узок во многих отношениях, ограничен как во взглядах, так и в опыте тем, что можно было приобрести в уединенных уголках Бет Хаммидраш, действительно, проще многих современных детей в мирском отношении; но именно по этой причине его моральные устои обладали старой, неисторченной еврейской стойкостью. Он знал, что Моше заслуживает сочувствия и помощи, и он решил помочь ему, если будет хоть какая-то возможность сделать это; и верил, что теперь он нашел способ достичь желаемой цели.

Рабби Акиба спешил по улицам Галошина, ярко освещенным ранним вечером, представляя собой достаточно необычную фигуру, чтобы стать объектом удивленных взглядов многих прохожих. Галошин был городом изначально польским, но который под влиянием прусской культуры и дисциплины полностью германизировался и стремился воспроизвести манеры и внешние характеристики немецкой метрополии. Еврейские жители, в частности, как правило, утратили все старые польские черты. *Джубицы* и, в частности, *леот* были полностью запрещены и допускались только к раввину, которому они считались подходящими, как пример жесткого консерватизма и непоколебимого благочестия. Спеша по улицам, рабби Акиба в своей длинной, подпоясанной рясе, странной широкополой шляпе, с длинными свисающими завитками ушей и толстой тростью в руках представлял собой самый разительный контраст с дамами и джентльменами, одетыми по последней моде, которые прогуливались по элегантным улицам, останавливаясь перед ярко освещенными витринами магазинов или заходя в театры,

концертные залы, кафе и другие увеселительные заведения, которыми изобиловали окрестности. Перед большим и великолепным зданием, из окон и большого портала которого лились потоки света и доносились громкие звуки веселой танцевальной музыки, раввин остановился. Над воротами висела огромная вывеска, на которой буквами, составленными из сияющего газового пламени, была выведена надпись: “Казино Галошинер и Ферайнсхаус”. Рабби Акиба мгновение смотрел на эту вывеску, а затем смело вошел. Его появление стало сигналом к большому волнению среди людей, стоявших в зале, и среди посетителей, которые входили в зал одновременно и которые пришли посетить ежегодный бал и встречу галошников “Веселый город”, модного клуба *преимуществу* города, к которому принадлежали все, кто мог претендовать на богатство и общественное положение. Это было неслыханно, что старомодный, консервативный еврей, который цеплялся за польский костюм, бороду и пряди в ушах, ступил ногой в место, посвященное танцам и новым социальным практикам, пришедшим с Запада. Для такого человека все они были нееврейскими мерзостями; и вид мужчин с ласточкиными хвостами, непокрытыми головами и полуодетых женщин, бесстыдно выставляющих свои обнаженные груди и руки на обозрение незнакомых мужчин, был ненавистен и омерзителен. То, что рабби Акиба, святой человек, чье имя было синонимом всего благочестивого и аскетичного, который выступал за жесткую и непоколебимую приверженность старой еврейской жизни и суровой религиозной дисциплине, а также за бескомпромиссное противодействие всему новомодному тщеславию и мирскому, что он на самом деле *в собственном* обличье вошел в пределы, отданные пустому веселью и безумию, “обитель насмешников”, было более чем удивительно; это сбивало с толку, ошеломяло, парализовывало.

Раввин Акиба, казалось, не заметил ажиотажа, вызванного его появлением, но прошел вперед к двери *главного салона*. Здесь стояли несколько джентльменов во фраках. Это была приемная комиссия, назначенная встречать прибывающих гостей. Они с изумлением смотрели на приближающуюся почтенную фигуру и приглушенными голосами пожелали ему доброго вечера. Он ответил на их приветствие и прошел в *салон*. Танец только начался, и танцпол был заполнен джентльменами в вечерних костюмах и дамами в красивых *платьях с декольте* и элегантными прическами. Появление раввина вызвало необычайное волнение и замешательство. И у мужчин, и у женщин не было других мыслей, кроме как о том, что их достопочтенный духовный наставник пришел сюда, чтобы упрекнуть их за стремление к неприличному и нечестивому образу жизни; что он в пламенных словах обличит их как отступников от веры, как грешников в Израиле. В те дни мужчины и женщины все еще трепетали, когда раввин произносил горькие слова упрека; и поэтому было вполне естественно, что своего рода паника охватывала тех, кто знал, что они преступили строгие правила приличия своей веры, и видел перед собой того, кто мог призвать их к ответу. Некоторые женщины убежали в другой конец комнаты, сопровождаемые своими сопровождающими; другие поспешно попытались прикрыть свои обнаженные груди и руки; третьи снова стояли как вкопанные, не в силах пошевелиться. Но рабби Акиба не произнес ни слова упрека. Он стоял неподвижно, с благожелательной улыбкой взирая на смятение, вызванное его появлением. Прошло несколько мгновений смущения и скованности, прежде чем несколько присутствующих джентльменов набрались смелости подойти к раввину, поприветствовать его и поинтересоваться причиной его визита на бал. Их возглавлял герр Прингсхайм, банкир и президент общины, который в силу своего видного положения выступал в качестве представителя.

“Мир тебе, досточтимый раввин”, - сказал он с низким и почтительным поклоном. “Мы приветствуем тебя на нашем празднике. Но могу я поинтересоваться, что оказало нам честь твоим присутствием этим вечером? Мы и не думали, что подобные празднества вызывают твое одобрение”.

“Любопытство, просто любопытство, друг Прингсгейм”, - ответил раввин с ободряющей улыбкой. “Я хотел знать, что делают наши евреи в эти новомодные дни. Человек должен знать все. Наши мудрецы, блаженной памяти, говорят нам: ‘Знай, что ты должен отвечать эпикурейцу’. Но как можно знать, что сказать эпикурейцам, если не знаешь, что они делают? Только подумайте: я стала такой старой, никогда не видела бала и ничего не знаю, кроме как понаслышке, о том, что делается в казино или клубах. А теперь пусть танцы продолжаются. Не прерывайте свои занятия из-за меня. Я не буду бранить вас сегодня вечером, хотя не скажу, что я могу сделать в другой раз.

Вздых, свидетельствующий о изумлении и лишь частичном успокоении, вырвался из груди слушателей раввина при этих словах. Однако делать было нечего, кроме как последовать его предложению. Герр Прингсхайм подал знак музыкантам, которые прекратили играть, продолжать, и большинство танцоров тоже вернулись на свои места, показывая, однако, своим смущенным видом, что им не по себе под пристальным взглядом раввина. Это было необычное зрелище: почтенный раввин, весь облик которого говорил о молитвенном доме и кабинете для занятий и вызывал воспоминания о давно минувших веках, стоял в современном бальном зале, критически осматривая движения пестро разодетой толпы, которая кланялась и *пасовала*, меняла партнеров и раскачивалась в самом одобрительном стиле, но которые не могли не показывать своими застенчивыми взглядами, как остро они ощущают абсурдность своего положения.

Когда танец закончился, герр Прингсхайм спросил раввина, удовлетворил ли он теперь свое любопытство. “О нет, ” ответил рабби Акиба, “ если только это не все, что здесь происходит. Но в казино наверняка происходит нечто большее, чем просто танцы, иначе вы не смогли бы использовать так много залов ”.

“ Но на самом деле нет ничего другого, ” ответил Прингсхайм, “ кроме игры в карты. Те джентльмены, которые не танцуют, играют в различные карточные игры до ужина, который наступает в полночь. Но я вряд ли предполагаю, достойный раввин, что вы проявляете какой-либо интерес к азартным играм?

“О, но я верю”, - ответил раввин с внезапным оживлением. “Это как раз то, что я хочу увидеть. Я хочу знать, что есть такого в азартных играх, что так очаровывает мужчин, что они готовы поставить на кон свои деньги, свое здоровье, счастье своих семей, даже свою жизнь, ради выигрыша в карты. Во что бы то ни стало приведи меня туда, где играют в карты.

С жестом отчаяния и с трудом подавленным стоном герр Прингсхайм направился в комнату для игры в карты. Появление раввина в элегантно обставленной комнате для игры в карты произвело впечатление, подобное тому, которое было вызвано его появлением в бальном зале. Несколько джентльменов сидели за столами, покрытыми зеленой скатертью, глубоко поглощенные своим рискованным и волнующим времяпрепровождением; но как только высокая, почтенная фигура пожилого священнослужителя появилась среди густых облаков табачного дыма, наполнявшего атмосферу зала, все замерли в изумлении и поднялись на ноги в

разных позах, выражающих изумление и ужас. Как и их товарищи по бальному залу, они опасались яростного осуждения их нечестивых поступков и наполовину ожидали, что им безапелляционно прикажут вернуться домой. Герр Прингсхайм поспешил развеять их опасения.

“Оставайтесь на своих местах, джентльмены, - сказал он, - и не прерывайте свою игру. Наш уважаемый раввин пришел сюда этим вечером, движимый желанием лично увидеть, как развлекается современное общество. Он никоим образом не желает беспокоить вас. Поэтому продолжайте свою игру, а мы останемся здесь в качестве простых зрителей”.

Эффект от этих слов заключался в том, что игроки вернулись на свои места и снова начали прерванную игру. Запрет на присутствие раввина, однако, тяжело сказывался на всех, и игра, как и танцы в бальном зале под тем же влиянием, стала до крайности бездуховной и формальной. Игроки вынули сигары изо ртов, некогда шумные голоса стихли, и все оживление сошло со сцены. Молча понаблюдав за происходящим несколько мгновений, раввин сказал герру Прингсхайму: “Знаете, друг Прингсхайм, я, кажется, не могу понять чувств игрока, просто наблюдая за ним. Мне все это кажется чисто механическим процессом. Один делает одно движение, другой - другое. Я не могу понять, в чем все это заключается, и полагаю, что никогда не получу никакого представления о том, что такое игра в карты и в чем ее очарование, если сам не сыграю одну-две партии. Ты не против поиграть со мной?”

“Вовсе нет, рабби”, - ответил Прингсхайм, которого очень позабавила эта просьба. “Что это будет за игра?”

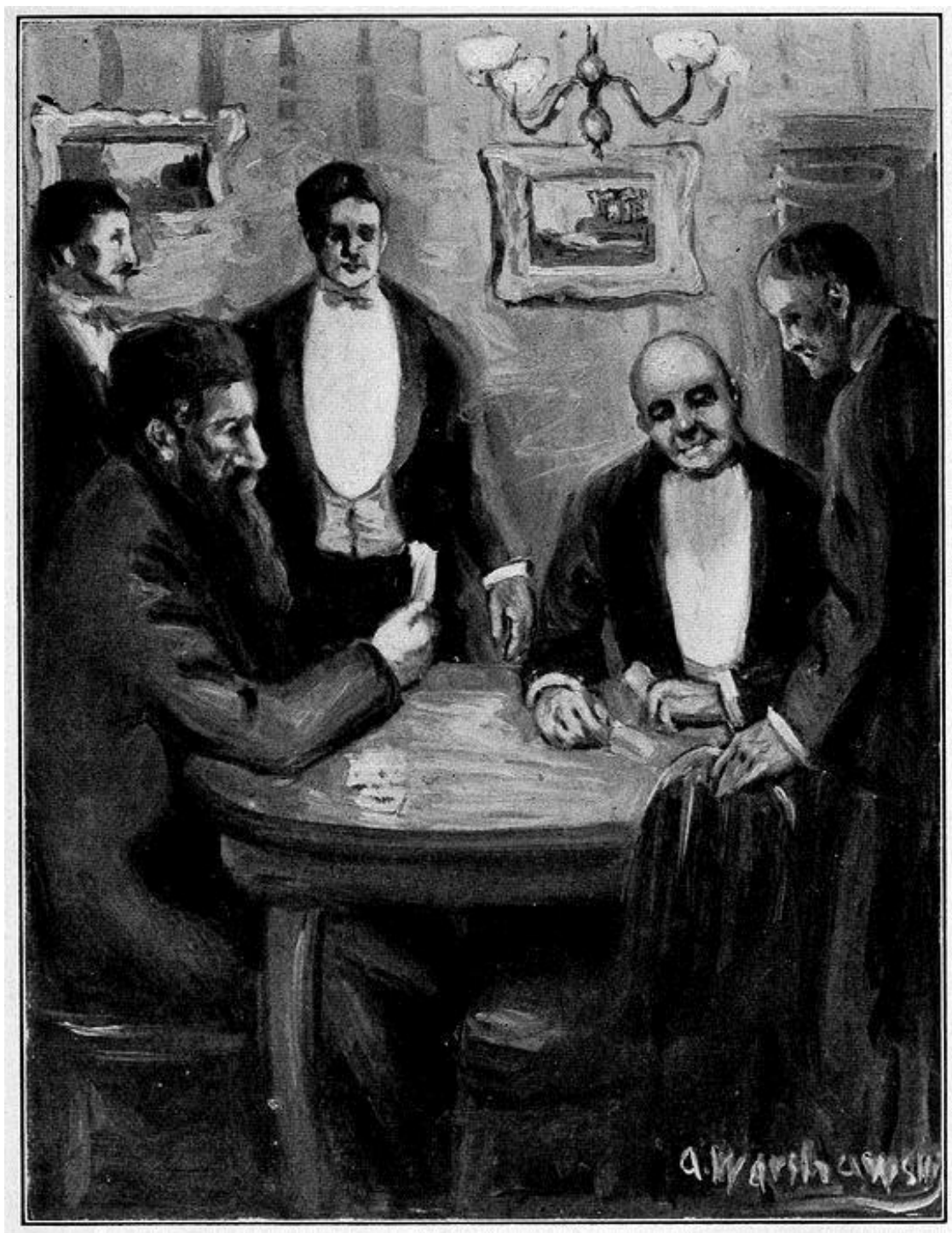
“Мне все равно”, - ответил раввин. “Я не отличаю одно от другого. Ты выбираешь любой, какой тебе нравится, и будешь так добр научить этому меня. Думаю, я смогу этому научиться”.

“Очень хорошо”, - сказал Прингсхайм, от души рассмеявшись. “Я не сомневаюсь, что из вас выйдет знаменитый игрок в карты. Там, где есть *Тора* есть *Хохма*.”

“Но я должен сказать тебе одну вещь”, - сказал раввин. “Мы должны играть на деньги. Я никогда не смог бы понять истинных чувств игрока, того трепета и напряжения, которые он испытывает, если бы не была надежда на выигрыш и риск проигрыша. Поэтому мы не должны играть в простую формальную игру, но здесь должна быть реальная ставка”.

“Очень хорошо, рабби”, - сказал Прингсхайм, все еще улыбаясь. “Насколько велика будет ставка, гульден или пять гульденов?”

“О, это никуда не годится”, - сказал раввин. “Я не мог составить правильного представления о такой ничтожной сумме, которая не имеет значения, выиграна она или проиграна. Давай сыграем на тысячу гульденов. Я поставлю свои пятьсот гульденов на игру, и ты тоже поставишь пятьсот гульденов.”



ПОСЛЕДОВАВШАЯ ЗА ЭТИМ ИГРА БЫЛА В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ ИНТЕРЕСНОЙ

Страница [287](#)

Эффект этого предложения, естественно, был ошеломляющим. Прингсхайм мгновение смотрел на раввина так, словно не верил своим ушам. Но он был, выражаясь современным языком, дичью. “Как пожелаете, рабби”, - тихо сказал он. - Мы будем играть на тысячу гульденов.

Последовавшая за этим игра была очень интересной. Автор не утверждает, да и не является необходимым для целей этой правдивой истории указывать, была ли это игра в клубберьяс, пинокль, скат, юкр или покер. Прингсхайм объяснил рабби Акибе ее правила, и игра началась. С согласия всех других игроков приостановили свои матчи созерцать зрелище раввина *vjubitza*, *streimel*, и *peoth* занимается игрой в карты в обществе джентльмена в ласточкин хвост и непокрытой головой. В результате сомнений быть не могло. Прингсхайм, конечно, не собирался ни побеждать раввина, ни забирать его деньги. После различных более или менее сложных маневров победил раввин Акиба.

“Что ж, рабби, ты победил. Вот ваш выигрыш,” сказал Прингсгейм; он достал свой бумажник и, достав оттуда банкноты в пятьсот гульденов, протянул их раввину, который с большим самодовольством взял их и бережно убрал в свой кошелек. “Я думаю, теперь вы должны понять чувства игрока, во всяком случае, когда он выигрывает”.

“Пока все хорошо, друг Прингсгейм,” ответил раввин, “но для меня этого опыта недостаточно. Я хочу знать, что чувствует игрок, когда он рискует тем, что ему досталось так легко. Поэтому, если вы не возражаете, я хотел бы сыграть еще одну партию, поставив на кон сумму, которую я только что выиграл”.

“На этот раз мне придется просить прощения, достойный раввин”, - сказал герр Прингсхайм с веселым смешком. “Ты слишком хороший игрок для меня. Пусть кто-нибудь другой займет мое место. Герр коммерцианрат Гамбургер, возможно, вы окажете услугу нашему уважаемому *ураву* и сыграете с ним в игру на тех же условиях, что и в первую”.

Герр Коммерциенрат Гамбургер, полный мужчина с лысой головой и гладким лицом, который, как и Прингсхайм, был одним из *Vorstand* или попечителей общины, при этих словах несколько неохотно выступил вперед и выразил готовность выполнить просьбу. Проблема второй игры была такой же, как и в первой. Удача не покинула раввина, и несколько мгновений спустя он поднялся из-за стола с солидной суммой в тысячу гульденов в кошельке. Он поблагодарил господ. Прингсхейму и Гамбургеру за поучительный опыт, который они смогли ему доставить, пожелал остальным джентльменам спокойной ночи и повернулся, чтобы уйти. Герр Прингсхайм проводил его до частного выхода, усадил в экипаж, и раввина отвезли к нему домой, оставив позади себя крайне озадаченную компанию прихожан.

На следующий день Моше Лабишинер посетил раввина Акибу. Он был в состоянии отчаяния, граничащем с крайним. Он был вынужден уступить неоднократным просьбам жены и дочери и разрешил назначить дату свадьбы, а также заверил своего предполагаемого зятя, что приданое будет готово за несколько дней до свадьбы. Но у него не было ни малейшего представления, откуда он мог бы взять необходимые средства; и он не верил, что рабби Акиба, ввиду наложенных на него ограничений, сможет помочь ему. Его визит к раввину был скорее связан со смутной идеей получить некоторое утешение от дружеских слов раввина, чем с чем-то более материальным. Как только раввин увидел расстроенное лицо Моше, он воскликнул: “Моше, не смотри так мрачно. Мужчина, который собирается выдать свою дочь замуж за прекрасного молодого *бочура*, должен выглядеть счастливым. Вы уже назначили дату свадьбы?”

“Да, равви, но *Недуня*?”

“О, пусть это тебя не беспокоит. Вот оно. И раввин достал свой кошелек и, достав оттуда десять банкнот по сто гульденов, вложил их в руки ошеломленного Моше.

“О рабби, тысяча благодарностей! Но как, черт возьми, вы это получили, если у вас не было денег, а я настаивал, чтобы вы не собирали их для нас?”

“ О, это было легко. Я выиграл его в карты.

- В карты! - и Моше уставился на раввина с выражением полного изумления и непонимания.

“Да, в карты”, - сказал раввин. “Я известный игрок в карты. Всякий раз, когда кто-нибудь из моих хороших друзей не может найти приданое своей дочери, я иду и выигрываю его в карты. Почему бы и нет? Разве я не заставляю игроков в карты выполнять *Заповедь*? И разве это само по себе не *Заповедь*?” И раввин долго и от души смеялся.

“Рабби, я не понимаю твоих слов, - сказал Моше, - но я знаю, что ты был моим спасителем и спасителем моей семьи. Я бы хотел выразить свою благодарность. Как я могу отблагодарить тебя?

“Я не нуждаюсь в благодарности”, - сказал раввин. “Все, чего я хочу, это чтобы ты уважал мои способности игрока в карты и дал мне привилегию станцевать *мицву* на свадьбе”. И раввин снова рассмеялся.

ГЛОССАРИЙ ИВРИТСКИХ И ДРУГИХ НЕАНГЛИЙСКИХ ТЕРМИНОВ.

Абайе и Раба,	Два выдающихся раввина Талмуда.
Angenehme Ruhe,	Pleasant rest.
Ани Иегуди, бо имми ачи,	я еврей. Пойдем со мной, о брат мой.
Apologia pro Libro Suo,	Извинение или защита его книги.
Auf Wiedersehen,	Good-by; au revoir.
Бачурим,	изучающие талмуд.
Бочур,	изучающий талмуд.
Борух Хашим,	Хвала Господу.

Баал Хаб-байис или Баал Ха-Байит,	Домохозяин, бюргер.
Баале Батим,	члены конгрегации.
Бауэрнгут,	крестьянская усадьба, ферма.
Бет Ха-Мидраш,	Дом обучения, где проводятся изучение закона и богослужение.
Chaussée,	Highway.
Чариф,	Острый, сообразительный.
Покровитель,	Друг, компаньон.
Чазан,	Увидься с Хазаном.
Чохма,	Мудрость.
Дейч,	немецкий: польско-еврейский термин, обозначающий еврея, принявшего нееврейскую одежду и обычаи.
Этрогим,	плод вида цитра, употребляемый в праздник Кущей, Лев. ххiii. 40.
Нежный ганзебруст,	Гусиная грудка, консервированная в жире.
Эрсте Дама,	Первая леди; примадонна.
Вечный дом,	английское исполнение Бет Олам, одного из многих трогательных еврейских названий еврейского кладбища.
Рав Фульда,	исполняющий обязанности раввина Фульды.

Казино "Галошинер" и Ферайнсхаус,	казино и клубный дом "Галошин".
Ган Эдем,	Рай.
Гебирге,	Горный хребет.
Гефюльте фланкен,	Фаршированные бока или кусочки пупка.
Гемара,	Основная часть Талмуда.
Готовьте вкусно,	Фасоль отправляют в духовку в пятницу и оставляют там до следующего дня.
Gesetztes Essen,	Еда, приготовленная так же, как и предыдущая.
Получить,	развод.
Груссе Готт,	приветствуйся во имя Господа.
Суп из грюнкерна,	Суп, приготовленный из особого вида зеленых зерен.
Гутен Морген,	Доброе утро.
Гутен Таг,	Добрый день.
Кишка тонка,	Хорошей недели.
Хафтара,	Пророческая часть.
Хакамим,	Мудрецы, раввины.
Галаха,	религиозное правило или решение.
Хазан,	Чтец или регент.

Здесь,	входите.
Иллуй,	Блестящий ученый.
Юбица,	Длинная мантия, которую носили польские и российские евреи.
Кадиш,	молитва, читаемая сыновьями в течение одиннадцати месяцев после смерти родителя.
Каллах,	Невеста.
Кехилла,	Община.
Кидуш,	Благословение, которым вводятся суббота или праздники.
Кидуш - Мензурка,	Чаша, содержащая вино благословения.
Кетуба,	Свидетельство о браке.
Кошерный,	Ритуально чистый.
Кречм,	Таверна, постоянный двор.
“Это то, что есть у меня”,	Государство, я и есть оно.
Lebe Wohl,	Farewell.
Слева,	сердце.
Ссылка,	Нерелигиозная.

Леффель,	Ложка.
Маарив,	Вечерняя служба.
Маггид,	проповедник.
Малах,	Ангел.
Массиг гевул,	Вмешательство в чужие дела.
Маццол Тов,	Удачи, это форма поздравления.
Мечулле,	Банкрот.
Мехуттанам,	Родственники по браку.
Меламмедим,	учителя иврита.
Мешолим,	Истории или притчи.
Мешуммад или Мешуммед,	отступник, извращенец от иудаизма.
Минха,	Дневная служба.
Мишна,	Часть Талмуда.
Мишпочох,	Семейные связи, взаимоотношения.
Мицва,	Достойный поступок, доброе дело.
Недуния,	Приданое.
Нефошос,	Души.

Ниггер,	Мелоди.
Овел,	скорбящий.
Парнас,	президент конгрегации.
Парносо,	Средство к существованию, прокорм.
Пиот,	Завитки ушей.
Плетт,	билет.
Рассказчик, фем. — юз,	Рассказчик сказок и анекдотов.
Рав,	Официальный или общинный раввин.
Ришус,	Нечестие, вражда; еврейский термин, обозначающий антиеврейские предрассудки.
Рош Ходеш,	первое число еврейского месяца.
Рошо,	Злой человек, ненавистник евреев.
Шейтель,	ткань или парик, которыми религиозные еврейки покрывают голову.
Schlafe wohl,	Sleep well.
Шнорреры,	Попрошайки.
Седрах,	Часть Пятикнижия, читаемая в синагоге.
Субботний кугель,	Субботний пудинг.

Шаммас,	служитель синагоги; пономарь.
Черт возьми,	Брак.
Шиур,	Подборка из Талмуда или религиозных книг.
Шива,	Предписанный семидневный траурный период, в течение которого скорбящий сидит на земле и не выходит из дома.
Школа,	синагога.
Софер,	Писец.
Таанис,	постного дня.
Таллетим или Таллитот,	Халаты или шали, которые надевают во время богослужений.
Тефиллин,	Филактерии.
Прозелит праведности,	английское исполнение Гера Цедека, язычника, который со всей искренностью вступает в завет иудаизма и ведет неизменно благочестивый и религиозный образ жизни.
Тора,	Закон.
Трефа или Трефот,	Запрещенная пища.
По отношению к миру,	Ни перед чем — <i>то есть</i> в растерянности, неспособный что-либо предпринять.
Водка,	русский виски.
Иегуди,	еврей.

Иегуди Атта?

Ты еврей?

Йешиба,

Талмудическая академия.

Zwiebel Tächter,

Onion cake.

ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕПИСЧИКА

1. Исправлены опечатки и орфографические отклонения.
2. Сохранено анахроничное, нестандартное и неопределенное написание в печатном виде.